

П Р О З А

Томара Корвин

К Р Ы С О Л О В

/повесть /

Ах, единственную радость подарило мне провидение, и ту я не взлелеял, не уберег. Сам себе гарпия, я испохабил свою чистую рассветную совесть, бодрость и надежду раннего пробуждения. И не то беда, что проснулся я спеленатый простыней по голому телу без рубашки, не то, что настезь распахнуто окно, каковое всегда закрываю на ночь, и даже не то, что бог весть как случился у моей постели таз; но жаль безмерно, что мысли мои спутаны, и с трудом вспоминаю, где был вчера и как попал домой.

А ведь недавно, приближаясь к сорока годам, я избавился от удручающего чувства незрелости, и как успокоительно было опознавать в себе приятную тяжесть лет, спасительную устойчивость груженной баржи, глубокосидящей! Наконец-то я мог надеяться на приближение к достойным старцам, доколе с почтительной завистью созерцаемым. Тщательно следил я за свежестью белья и неизменной пристойностью верхнего платья, соблюдал размеренность в речах и размышлениях, выдерживая темп не быстрее, но и не медленнее, чтобы не утрачивалась связность. Никто не заставлял меня в неподобающем виде; и лишь перед другом моим, кого стыжусь и робею... но поразительно, как одно возникновение магистра в моих мыслях очищает и проясняет их! Конечно, это он привел меня вчера домой, заботливо раздел, уложил, обеспокоился моим нездоровьем: разыскал, утруждая свою тучность, постыдный этот таз и поставил у моего изголовья на всякий случай.

Вот бы и остался до утра, милосердный самаритянин!

Но не следует давать волю злым чувствам. Его деликатность пощадила мою стыдливость.

О каковой он знает уж потому, что никогда, и в самые хмельные минуты не сетовал я перед ним на растерянность, на неловкость мою в любви. Она остается неупомянутой, ибо пока не поименовано нечто, то как бы и нет его.

Не взглянув на часы, я знаю, что должен поспешить:

колокольчики в музыкальной шкатулке прозвонили восемь тактов из Магнификат. Чрезвычайно удалась эта работа нашему оружейнику; он добился избрания главой своего цеха и занят грандиозными изобретениями, но охотно дает волю давней страсти к механическим игрушкам. Над моей приверженностью к музыке он подшучивает, а заказ исполнил точно, не погрешив нигде в этом сложном чередовании четвертей, восьмых и шестнадцатых.

Да, сказано: кто, не будучи рожден владетельным князем, берется за административную деятельность, тот либо мошенник, либо филистер, либо дурак. Я не дурак и вряд ли мошенник; а будь я филистер, мучился бы я сейчас только тяжестью в голове и скверным вкусом во рту, но не страхом и виною. Случайность, коловращение судьбы сделали меня временным бургомистром города Гаммельна; я был удивлен, но не противился. И опять благодетельны последствия умолчания: кое-кто охотнее увидал бы во главе магистрата моего друга, магистра богословия и философии, чье глубокомыслие почти смущает, будучи несоразмерно Гаммельну. Но дружба наша, вернее, мое почтительное восхищение и его поощряющая снисходительность, не названа перед миром, хотя и не составляет тайны; и пусть разочарованные утешаются, предполагая, что он как бы через меня правит: пусть отыскивают в моих делах следы его высокоумия; и пусть недовольные, оказывая мне незаслуженную честь, намекают в кулуарах, что лучше-де бургомистру быть самостоятельной. Деликатная недосказанность сдерживает тех и других, комментарии не отягощают мой слух, я не вижу осуждающего качания голов, и вершу дела Гаммельна в меру сил своих и способностей, согласно конституции.

Возможно, пожелай я испытать из источника мудрости друга моего— не получил бы отказа. Познания его безграничны; в нашем Гаммельне ни одно лицо, сколько-нибудь прикосновенное к высшему, не избегло его влияния. Председатель суда, не решаясь докучать ему сам, выведывает его мнения через знакомых; атташе граф фон Тедеско, изредка посещая родные края, неизменно испрашивает у него аудиенции; о профессо-

ре, директоре школы, нечего и говорить: это преданный формулу магистра, подражающий ему даже в походке. Копия близка к карикатуре, и поделом безрассудному, возомнившему повторить неповторимое! Правда, был и я дерзок когда-то, пытаюсь постичь непостижимое. Как же так, думал я: отчего всякое его суждение непререкаемо, словно с моисеевых скрижалей, — и это у человека, не принадлежащего ни к какому человеческому сообществу? Как же без этих весело-деловитых и пристально-строгих товарищей? Один заложит фундамент, другой накроет крышей, третий покрасит оконные рамы; сперва подскажут, после поддержат, а дальше — и проводят в землю. Мне приходили на ум бенедиктинцы, иезуиты, иные корпорации; однажды я ухитрился — весьма ловко, как мне казалось! — задать вопрос не задавая его; и магистр прямо и без промедления ответил, что ничем и ни с кем не связан. Я уверен, что он посвящен в высокий духовный сан, но не знаю, к какой принадлежит церкви.

Загадка магистра внушает постоянную неловкость тем пяти-шести гаммельнцам, которые склонны к размышлениям. Зачем сей муж, созданный удивлять и вразумлять мир и даже видом своим напоминающий башню или горную вершину в утренних лучах, добровольно затворился в родном городе? Ведь Гаммельн, при всех своих достоинствах, — небольшая средне-европейская стоянка, населенная добрыми среднеевропейскими дикарями, и кто здесь полюбопытствует о высоком? Приятный космополитизм последних десятилетий имеет здесь скорее комическое обличье. Может быть, магистр дал некий тайный обет? Но кому?

Итак, он непонятен; к тому ж он язвительно насмешлив, и недоброжелатели зовут его магистром злословия. Хватило бы и одного из названных свойств, чтобы мне обойти его стороной; но он пленил мой слух речами о музыке. Вначале, с юной и суетливой спесью профессионала, я не был внимателен; но негромкий голос продолжал звучать, и скоро принудил меня остановиться, вслушиваясь...

Католическому прелату подобает знать музыку; протестанты на ее языке изъясняются. Но в нем я нашел глубину

проникновения, безмерно превосходящую простую должностную осведомленность. Он говорил о музыке с отвагой философа, с точностью математика, с жаром поэта. Я был очарован, покорен, повергнут! И каждое слово его стало для меня законом. Я признался ему в моей мучительной неуверенности...

— Вы больны, — сказал он, выслушав меня, — и пусть век страдает тем же недугом, не надейтесь, что я отпущу вам грех во имя его массовости. Юный друг мой, не прячьтесь в штаны принца датского! Пусты эти штаны. Все пять актов Шекспир хохочет над ним, а хилые бледные потомки возвели его на пьедестал. Девушка вешается ему на шею, а он, в страхе за свои мужские доблести, хулит ее, как лиса виноград. Поглядите-ка на героя и мстителя: высший взлет его смелости — петушиная драка с Лаэртом. И благо, что тем и кончилось: дьявол знает, что натворил бы этаким истеричным импотент в роли великого короля. Я вижу, вас шокирует моя откровенность? Церковь владеет всеми языками, она непогрешима, и грязь не пристает к ее одежде. Вам же я советую по-прежнему воздерживаться от рискованных выражений...

Итак, что же я услышал от вас? Вы готовы к жертвам и лишениям, вы ждете награды лишь в радости труда; но вы боитесь ошибиться, вы не хотите стать посмешищем в собственных глазах, если усилия ваши превысят результат. Вы пришли ко мне, зная, что я всего лишь смиренный теолог, что я сужу только именем Великого Устроения; вы сказали, что нуждаетесь не в заключении эксперта, но в боговдохновенном совете. Что ж, ступайте! Бросайтесь в волны! Овладейте стихиями!

! Трубы и литавры!

— Так вы благословляете?..

— Вы просили совета, не благословения. Я не расточаю благодать по дешевке.

Как суров он был со мной! Какое презрение во взоре!

— Чего вы ждете? Вы растеряны? Я оскорблял вас, а вы не оскорблены? А, вам желательно применять бога как компьютер для подсчета ваших потенций? А меж тем будь в вас подлинный ..., вы тотчас бы выбежали отсюда, чтобы жадно вдохнуть свежий и влажный ночной воздух

чтобы отрясти прах этого дома от ног своих, и с ним все сомнения... Ну! В ваших ушах еще не зазвучал гнев Бетховена? Вам не хочется хлопнуть дверь, обрушив штукатурку на мою голову? Но если так...

Он был суров, но и снисходителен. Он не отказал в помощи мне, смирившемуся. Он назвал мое решение разумным и даже мужественным. Он меня сокрушил, но разве не обрел я в нем отца, впервые явившего спасительную строгость? Увы, мой родной отец никогда не был строг со мной...

Терпением и постоянством мне посчастливилось снискать его уважение: ибо, сказал он, теперь он видит, что я утвердился в уважении к самому себе. Он стал обходиться со мной как с другом. И беседы наши о музыке продолжались, принося мне безмерное утешение. И более, более того: отказавшись от композиторства, не будучи пред музыкой в ответе, я мог говорить и слушать без тайной ревности посвященного, которую должно обращать в иронию согласно цеховому этикету. Я стал свободен для поэтических уподоблений и мистических экскурсов, не принуждал себя возвращаться к писанию задач по контрапункту. Я позволял себе беззаботно чередовать восторги со спокойным любованием. Быть посторонним — великое преимущество.

Но все чаще бывал я поражен пропастью между стройной соразмерностью и божественной целесообразностью музыки, таким покоем полной в его речах, — и безобразной толкотней и сварам людского бытия. Не так давно я заговорил об этом с магистром, сетуя, что непредвиденные случайности умножают тяготы моего служения. Неужели, восклицал я, не может и тут все устроиться несуетливо и разумно! Или музыка — из тех даров неба, которым мы только дивимся, завистливо вздыхая о недостижимом?

— Бесспорно, она дитя божества, — отвечал друг с тонкою улыбкой, — но, предназначая ее для бытия, бог позволил человеку овладеть ею. Возможно, божественная дочь не хотела опускаться на землю, возможно, отцу пришлось положить конец жеманству, обернув ее спиной и сообщив коленом некоторый первоначальный толчок... Не противится ли она и по-

ныне, обрекая избранника на бесконечные усилия? В утехх любви не обойтись без диспозиции. Вспомним для примера известнейшую — как подобает нам, двум дилетантам, — симфонию Моцарта. Тема ее наделена талантом жизни — возможностью саморазвития, первый краткий путь она пробегает сама, и этот путь предсказан ее собственным складом. Создатель только следит за нею строгим и любовным взором, готовый встретить утомившуюся путешественницу на повороте и помочь ей гармонической ли инъекцией, ритмическим ли поощрением. Он слышит ее мольбу: подкрепите меня вином, освещите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Он смотрит ей в глаза, он держит ее за руку, так явственно чувствуя под пальцами ее пульс, как никогда не чувствовал свой собственный... Истопив ее силы до конца, он заменит ее другою. Обретение бытия — процесс, образующий форму, и предмет его на всем пути — сама конструкция. Творение живет своею жизнью и как будто не нуждается ни в чем вмешательстве, на самом же деле повинуетя единой воле. Результат — совершенство.

— Только один вид совершенства — классический, — отозвался я. — Но возможны ли другие?

Друг мой сидел лицом к окну и вдруг оборотился ко мне всею своим тяжелым телом.

— Классический! О чем же мы говорили, почтенный мой собеседник? Открою вам: о Цезаре. Об Александре! Какие знакомые, веселящие глаз картины! Любо ли вашему отважному уму знаменательное сие тождество? Единые законы...

— Или свободная игра.

— Но соразмерная с разумом! Вы усомнились? Таково-де преобразование истории поэтом? И теперь-то вы, человек положительный и государственный, отложите книгу и восстановите в правах реальность? Полно! Вам не удастся. Вам внушает недоверие завершенная историческая картина в округлом стиле итальянской арии. ? Вы подозреваете, что игра обстоятельств и интересов была более сложна, многоголоса? Ваши изыскания приведут вас к фуге Иоганна Себастьяна, а далее — к органистам Нотр Дам и шестнадцатиголосию старых фламандцев. Но произвола вы не отыщите, случайности

не встретите. Даже гетерофония, — вспомните ваши ранние опыты, с которыми меня удостоили познакомиться, — даже гетерофония у вас не чуралась детерминации, льнула к спинному хребту, ибо в противном случае была бы раздавлена собственным весом!

— Но не грехом ли познающего будет такое упорядочение? Благонамеренным искажением в угоду архитектоничности его разума?

— А разве познаваемое не сделано им же? Разве вы не видите, не слышите, что иные моменты истории породила та же тоска по форме, которой мы обязаны увертюрой к "Дон-Жуану"?

— Магистр... но где же тогда бог?

Он улыбнулся отечески.

— Мои ученые собратья исходили потом в попытках уличить меня в ереси. Вы назвали имя. Ищите его носителя в проявлении, распознавайте форму, умеете уловить минуты Великого Устроения...

— Но как трудно поверить, что повседневные дела Гаммельна, склоки и столкновения, позорящие магистрат, — не хаос, не беспорядочное копошение без цели и смысла...

— Потому что этих дел еще не касалась преображающая рука устроителя. Дела Цезаря пребывали в единстве с его намерениями.

— Добрые намерения! — вскричал я, увлеченный. — От века неизменные, они же и наши: благо и согласие граждан, да еще, быть может, снисходительное слово потомства...

— Дорогой и превознесенный друг, разве Цезарь был святым?

Я смутился.

— Желая блага, прибегают к молитве; Галлию завоевывают. Цезарь располагал легионами для похода, проконсулами для управления, юристы писали законы, дикторы наказывали, и, наконец, сенат и римский народ одобряли все вышеперечисленное. Точнейше обозначенные средства определяли соответственные намерения, иных он не имел, и мы зовем его классиком. Так же и вы...

Как было не принять это за насмешку? Но я попытался.

- ...вы все, правители, стремитесь к форме в мире бесформенного, создаете островки порядка в океане хаоса. Что бы вы не делали, устройство - ваш единственный способ, и оно же - единственное возможное для вас намерение. Вспомните: симфония имеет своим предметом свою же конструкцию. Она не оглядывается по сторонам, не возводит очи горе. Она целостна в себе и самоценна.

- И несправедлива, - содрогнулся я невольно.

- Несправедлива?.. - о, эта усмешка! Годы пройдут, но не забыть мне ее! - А зачем? Чтобы разрушать себя же?

И еще продолжался наш разговор, и друг мой вернулся к своей чарующей шутливости. А на прощанье сказал:

- Есть у божественного Шуберта, обычно склонного сладостно затягивать беседу, одна предельно сжатая фраза: начало неоконченной симфонии. Забавно, что словоблуды имеют краткость и точность незавершенностью! Так вот: звук протягивает к звуку тонкие длинные нити - быть может, высоко в небе, но почему бы и не под землю? В этом строении и развитии зоркий глаз может усмотреть чертеж... ну, скажем, готовый проект системы городского водоснабжения.

Жесткая шутка - если лишь шутка. Водопровод и поныне - больное место городского устройства; особенно же пагубно отсутствие канализации.

Да, пора сделать признание: в том моя вина, и отсюда страх мой: Гаммельн стал грязен безмерно и оскорбляет зрение, осязание, обоняние же наипаче. Куда деваются деньги - не пойму, но слышал не раз от членов магистрата, что городская казна пуста. Говорил мне так и председатель суда, и директор школы, а мингер ван Пельц, наш финансист, всякий раз подтверждал с искренним огорчением.

Сомневаясь в себе, я расспрашивал осторожно, и описывал свои намеки и экивоки магистру. Он мягко упрекал меня за робость, напоминал для примера и руководства иные похвальные мои суждения и распоряжения. И коль скоро добрые слова подкрепляемы были добрым вином, я казался сам себе и впрямь не совсем недостойным моего невольного бремени...

Но приходило утро, и был я один, и дымом расплывалась, словно колдовское золото, мое душевное веселье.

Пора в ратушу. Надо идти, скрывая тяжкое похмелье и немалое отвращение: по природе я несообщителен. Нет, по сей день не пойму, как согласился принять, хотя бы на время, утешительный сан; приняв же, был честен и полон рвения. Был ли утешен — про то бог суди. Правда, бог милосерд — и я сам сужу себя сурово.

А вот новая ратуша — мне в утешение: величавое строгое строение подобно хоралу Баха; оно возносит к небу четыре башни, и на каждой — на все стороны света — часы. Дважды в сутки, в полдень и в полночь, часы играют короткую фразу из "Фиделио": шестикратно повторенная фраза квинта до мажора успокаивает своей устойчивостью и вместе с тем придает, по моему замыслу, некоторую возвышенность будням. Правда, магистрат находит, что фраза звучит скорее как предостережение; но я осмелился не согласиться с этим. Памина, моя воспитанница /я люблю это имя из "Волшебной флейты", имя чудесной принцессы, выходящей из таинственной тени, чтобы вознаградить Тамино за все испытания; ее крестное — Сабина — созвучно волшебному/, — моя воспитанница говорит, что мелодия с шестью "соль" похожа на школьную дразнилку.

Увы, пока неизвестно, какое толкование предпочитают граждане Гаммельна. Со дня торжественного открытия ратуши минуло уже два месяца, а часы еще не играют и даже не ходят. Их делал мастер Гейнц, гордость и слава города, и приключившаяся с ним незадача не дает мне покоя. Парень он славный, старательный, всегда трезв и безотказен, — и вдруг охмелел от всеобщих похвал и понес окоlesiцу: ему — де все дозволено, начнет злословить хоть о бургомистре, хоть обо всем магистрате, и ничего ему за то не будет. Мяеник же Якоб, грубиян и недоброжелатель, подстрекнул: бургомистра — то всякий, дескать, горазд, а вот попробуй судью! Пари на две кружки! И подзуживал всячески, пока бедняга Гейнц, выпив для удали, не произнес слова неудобно произносимые о председателе судебной палаты при большом

скоплении народа в пивной. И надо же: кто-то услышал, запечатлел на бумаге все подробности, включая самые слова, и доставил в магистрат. Колебались и спорили ожесточенно, но арестовали мастера. Так и стоят часы, краса города, уха и малое оправдание мое.

Ныне я стал искусен в лести, обучился интриговать, хитросплетать и ходить окольно. Бывает, переберу лакейского тону — и тем послужу пользе дела. Надо выволить Гейнца! Судья не зол и не мелочен — из почтения к себе; а повеет — так одно присутствие моего друга пристыдит упершийся магистрат. Не будучи лицом официальным, одинокий мыслитель все же приходит иногда в ратушу и даже удостаивает нас своими суждениями; и тогда немногие слова его возносят нашу обиденность к высотам философии и космического беспристрастия.

— Достоцимый судья, как драгоценное здоровье ваше?

— Благодарю, бургомистр.

— Рад слышать, и никто более меня не рад. Рад сердечно всем вам, уважаемые! Опоздал, опоздал, простите, на северной башне третий месяц двенадцать, да на западной только девять...

— Иной долг тягостен, бургомистр.

— Боже упаси, дорогой мой, и помыслом не упрекаю вас! А коль пришелся к слову мастер Гейнец, то не случайно, да и когда бывают случайны слова ваши?! Читаю, друзья мои, в душе нашего коллеги: давний случай досаждает ему. По заслугам наказан грубиян и пьяница Гейнец, кто пожалует о нем? Никто — кроме его судьи. Как снести благородному сердцу, когда долг надевает личину мести! Богомерзкое, мучителенно потешное сходство! Уверен: если отпустим с презрением бродягу и сквернословия Гейнца, тотчас разойдутся тучи на челе нашего председателя. Не поддержит ли меня господин атташе фон Тедеско?

Поздний потомок знатного рода, гордого романской примесью, прославленный дипломат, англоман. Приветливая улыбка.

— Ваша диалектика блистательна, юридическая компетентность судьи несомненна... Вмешательство излишне.

Граф — поклонник искусств: быть может, в его лице наша картинная галерея имеет лучшего ценителя. Оригиналы слишком дороги, но я с таким тщанием подобрал копии для большого зала ратуши, и взгляд дипломата скользит по стенам с явным одобрением. Особенно хорош босхов "Корабль дураков"; жаль только, что картина сердит нашего оружейника-изобретателя: он находит в ней какие-то технические погрешности. Странно также, что магистр всегда садится к Босху спиной.

— Брань ремесленника — не оскорбление для меня. Не обдели господь разумом того... не в меру усердного гражданина Гаммельна, я мог бы не знать о поносных словах, даже зная о них. Событие же документально изложенное, слова названные и записанные обретают юридическое бытие, бытие государственное и историческое, бытие неизгладимое. Доне-сению надлежит быть рассмотренным и влекущим выводом, известно вам это, бургомистр? Бог свидетель, как неловко и досадно мне с этим жалким Гейнцем. Тяжко стать невольной причиной посрамления своего города, и кому — мне! Помнил я и о личине мести, вами упомянутой. Как распалась связь времен на наших часах, так раздираема была моя совесть. Недопустимо, однако, оставить порядок в небрежении. Ему, порядку, я решился пожертвовать даже и честью своей, упо-вая, впрочем, что так-то и сохранию ее.

Да, судья терпеть меня не может; он и место бургомис-тра жаждали один другого, и по праву, по праву!

— Тут и Якоб наш не без вины...

— Э, сосед, поцелуй-ка меня в зад!

—... а все ж мирволить нельзя. Спустишь раз — всякий примется, чем и оградить почтенное лицо?

— Полно, любезнейший. Во мне ли дело? В отдельном ли человеке? Чем порождено недоумение об отдельном человеке? Это недоумение, это замешательство происходит от путанно-го определения его, невозможности соотнести проступок с наказанием. Как возможно, что слава города зависит от негодяя, ... , допустимо ли, чтобы спаситель чести города оказался негодяем? Разум восстает против этого про-

тиворечия, и вам лучше знать, милостивый государь, как возникло такое немыслимое Законы нелицеприятны, должное же толкование и применение их требует установленной системы приоритетов., восстановим приоритеты, бургомистр!

Он косится в сторону моего друга, но тот неподвижен, как застывшая лава, в своем огромном кресле. Его грузное тело и просторные одежды переливаются через край.

— Да не такой уж он единственный, этот Гейнц. Гонору много! Другие не хуже бы справились.

О нет, ни в коем случае не следует мне понимать этот намек. Если изобретатель доберется до часов, они будут величиною с озеро, из каждой цифры полетят птички — в соответствующем количестве, а стрелки украсятся флажками.

— Гейнц вконец окосел, как твои две кружки добавил, Якоб

— Задницу почеси, приятель.

— . . . с крыльца в лужу полетел, и уж тут до мерзостей дошел. . . : в рифму заматерился.

— Всюду мерзость, — сказал судья. — Не угодно ли: на дохлую лягушку наступил на площади.

— Наказать мусорщика!

— Мусорщика, профессор? Вы полагаете, это послужит славе Гаммельна? Право, не знаю, чем мы тут занимаемся.

— Я давно не был в Гаммельне, джентельмены, боюсь, что несколько забыл дорогую родину, служа ей на чужбине. Признаюсь, удивлен, опечален. Я — демократ и христианин, но в отеле насекомые! Горничные так неопрятны, что . . . приходится мыть руки. Прошу простить мою непрошенную откровенность.

— Экселенц! Профессор! Высокочтимый председатель! Все сказанное справедливо, неоспоримо! Город пора очистить. Здесь сегодня собрались самые светлые умы Гаммельна: изобретательнейший староста цеха оружейников, доктор, — ах нет, он что-то запаздывает, но вот его коллега фармацевт; вас, экселенц, просим консультировать по вопросам иностранной помощи, уповаю на ваше содействие, профессор. Наш уважаемый казначей, финансовый советник ван Пельц не позволит

нам увлечься чрезмерно. Слева от меня — страж законов, справа — магистр, коего представлять нет нужды. Всех прошу помочь советом и участием. Сам же скажу: нужна вода, вода в каждый дом, и для начала построим водокачку...

Медленно отворилась дверь, вошел доктор — усталый и озабоченный.

— Уважаемый бургомистр подобен Геркулесу, для очистки авгиевых конюшен Пеней и Алфей запрудившему. Или водопровод смоем с наших улиц дохлых лягушек?

— Осушит грязные лужи, уничтожит кучи отбросов?

— Клоака очистит клоаку?

— Чума излечит холеру?

— Вы же слышали, коллеги: это лишь начало... Я с нетерпением жду водяного органа, фонтанов и статуй!..

О невинные гейнцевы каламбуры. О, расплата.

— Дорогостоящее начало, — в первый раз нарушает молчание мингер ван Пельц. Голландец родом, он несколько лет назад любезно принял на себя наши запутанные финансовые дела. — Но...

— И то сказать — гроша не останется, возьмемся за руки и пойдем плясать вокруг водокачки, под музыку! Как мыши кота хоронили...

— Крысы! — доктор вскочил. — Ночной сторож на складе Вальдмюллера! Крысы ему обгрызли ноги, я только что оттуда!

— Пока он спал, разумеется! Кара сопутствует преступлению. Вот она, распущенность!

— Крысы у булочницы кошку загрызли.

— Секретарь суда в суповой тарелке крысу подали!

— То-то сноха вчера всю кулебяку из булочной скормила коту. Не иначе, с крысиным дерьмом начинка.

— Мельнику всю муку загадили!

— Крысы бросаются на детей, — взволнованно добавил доктор. — Прыгают в колыбели...

— Так не начать ли нам с крыс?

— С головы или с хвоста? — прошептал я, покоряясь. Магистр не слушал. Он вел сам с собой тихую ритми-

ческую беседу, и я различил обрывок стиха:

...который властной рукой
Нам будет обновленья знаком...

Не будем отвлекаться из-за частных, господа, — сказал судья, который тоже прислушивался к монологу магистра. Упрекая себя за недавнее подозрение, я взглянул на него с горячей благодарностью. — Предлагаю систематический план...

Увы, не было удачи его разумной попытке! Под столом зашуршало. Тедеско побледнел, профессор нервно подобрал полы мантии; не таково было хладнокровное мужество моего благородного друга. Он остался спокоен, когда на груди бумаг перед нами вскочила мышь, — мне почудилось, из его рукава! — замерла на мгновение, вся любопытство и доброжелательство... Магистр махнул рукой, мышь исчезла.

А в огромном зале родился ропот.

— Довольно сомнений! Довольно колебаний! Действовать! Известить крыс! Найти средство!

— Такое средство есть, оно получено в моей лаборатории... Как угнездилась наука в этой скромной голове, спрашиваете вы себя? Своеволие ее крылий, милостивые государи мои! Рыцарь реторт и колбочек! Да, были времена, когда алхимика окружал страх и почтение; и, может быть, недолго осталось ждать, что довальный мар, что неслыханные бедствия наконец-то принудят растерянное человечество облечь ученого властью!

Аптекарь говорит негромко, но как пронзителен этот голос, сотрясающий его длинное, тонкое как хлыст тело.

— Это что ж, крысиная отравка? По чердакам да подвалам с угощением лазать? Смотрите, почтеннейший, подойдет зверь в углы — провоняет, зараза пуце пойдет. О старой доброй крысоловке пожалеешь.

— Вздор!

— А мы ее усовершенствуем. Вот я тут чертежик набросал, не посмотрите? Через вытяжную трубу на барабаны их, да лопасти посадить почаще, чтоб на клочки. А подведем к реке выход — так и вывозить не надо, тратиться: прямо в воду!

— Весьма, весьма остроумно. Но... пресса может квалифицировать как вивисекцию. Я — демократ, но я христианин; и что скажет Англия?

Мы смущенно переглядываемся.

— Э, кати в зад твоя Англия!

— Ваше сооружение внушительно, как тяжелая артиллерия. Не слишком ли — для этой... войны мышей и лягушек?

— Что ж, что война? Войны движут прогресс, любой школьник знает — вон профессор вам подтвердит. Оно, может, и нехорошо, да не нами заведено. Я — механик, человек практический, а ежели ваше превосходительство в рассуждениях на повороте заносит, так ваша Англия по сей день в шкурах ходила бы, креста не зная, кабы ее с кораблей не завоевали. А как сама разлакомилась — пароход построила, не на такой же шлюпке плавать, что вон там нарисована.

— Ошибаетесь, сэр. Английское судоходство развивалось исключительно в торговых целях.

— Э, такая торговля от пиратства недалеко ушла. Сколько народу на дно-то пустили?

— Наш мастер забыл, что атташе фон Тедеско все-таки не англичанин, а мы не противники прогресса, даже если он, увы, пьет из черепов...

— Это вы про меня? Я из кружки пью!

— О нет, нет, это древнее божество, древнее изречение, — поспешил я.

— Древнее — так и говорите. А только божество за вас крыс ловить не станет. Не хотите крысоловку — по-другому сделаем, еще и проще. Вот транспортер есть, давно без дела стоит, лента широкая; а сюда — четыре столба, метр, не больше, угол... гм... косинус... так, довольно. Транспортер подает, плита падает и прихлопывает. Конец.

— Да уж с такой высоты — сразу мокрое место.

— А в какую сумму обойдется эта конструкция? — осторожно спрашивает мингер ван Пельц.

— Прикинем. Земляные работы — пустяк, рабочие много не спросят, подъемное устройство — после башенок-то на ратуше — цело, приспособим, а плита... плиту для такого слу-

чая в мавзолее того философа позаимствовать можно, все равно родственников никого не осталось. Еще динамо. Ну, и патент... От силы три сотни за все и про все.

- Сомневаюсь. Электричество дорого.

- Дражайший финансовый советник, неужто и вы враг прогресса? - шутит председатель судебной палаты.

- Нет-нет, никто как мы - голландцы - ему способствовали, хотя никто как мы не страдал попутно... А мастер уж успел за меня казну сосчитать?

- Когда мы так бедны, не подобает нам воздвигать вавилонские башни. Господа, обратитесь к науке - тайной, быстрой, всемогущей! Мы не сдвинулись ни на воробьиный скок, забавляясь механическими игрушками. Пока не поздно, призовем на помощь мысль! Мысль не нуждается в столбах и землекопах, мысль не разорит нас, мысль вся вот здесь, как джин в пробирке!

Длинной, длинной рукой аптекарь касается лба. И какие когти! Я вспоминаю старинное предписание: оставлять оружие за дверьми ратуши.

- "Черная пыль": производство моей лаборатории. Целебна в малых дозах, предположительно смертельна в больших. Действует мгновенно, обходится недорого. Удалить жителей наиболее зараженных кварталов, распылить порошок - и погибнут не то что крысы, но вообще все живое в радиусе четырехсот метров. Быстрота, простота, никаких громоздких приспособлений. Для операции достаточно двух человек.

- Как будто недурно, - задумчиво говорит полицейский комиссар. - Тюрьма кишит крысами. Только куда я дену арестантов?

- Господь благослови ваш гений, бакалавр! - горячо восклицает доктор.

- Я не вполне понимаю... получается, что эти двое... гм... тоже?

- Вот оно что! До людей дошло!

- Да, милейший прогрессист, тут риск, и немалый. Это не то что прятаться за мраморной плитой, оскорбляя городскую святыню. Давид вышел на Голиафа без щита! Присяга война обязывает к жертве, при защите порядка риск

входит в контракт.

- Но, бакалавр, - озаботился судья, - такой приказ солдату или полицейскому превышает наши права, равно как повинение в этом случае превышает их долг. Кого же... удостоить?

- Припомните: требовался только десяток праведников... Каков же в ваших глазах Гаммельн, коли на дне своего презрения вам не сыскать и двоих. Так пусть одним буду я - ищите второго!

Соблазн. Три, пять, десять соблазнов. Соблазн вдохновения - верный расчет, не мечта, не надежда, первый и последний, единственный. Соблазн кончить, прекратить /в эту минуту я понимаю, что никогда она.../, - соблазн покоя. Соблазн кокетства, павлиньего хвоста - перед нею же! Последним упомянутый, не честнее было бы с него начать?

- Что ж, дорогие сограждане, всем известно, что это кресло не по мне. Возложите грехи ваши на козла и отошлите его в пустыню. Разрешите сопровождать вас, бакалавр?

- Возложите грехи ваши, - повторяет судья; он раздосадован и не смотрит на меня. Соблазн злорадства. - Похоть одолевала древних иудеев, видно, сильнее всего, потому был избран козел. И нас, похоже, не менее, но кто снесет другие грехи?, возложите...

- На осла отпущения! - подхватываю я, неуязвимый. Враг, где жало твое?

Но неужели они так и не взглянут на меня добрее?

Аптекарь рад скорому успеху, но не затмился ли его ореол?

- Не найдется ли снова ягненок в кустах?..

- У нас в кустах только кошки бродячие, парочки, да пьяницы, - верно, Якоб?

- А пошел ты...

- Поистине, всемогуща невинность. Ягненок немедленно вызывает массовый зуд жертвоприношения. Зато виновному, - магистр смотрит мне прямо в глаза, и я стремительно трезвею, - виновному не дано искупить ничьей вины, кроме своей собственной.

- На Страшном суде всех простят, - бормочет пьяный Якоб.

- Ловко! И того, значит, малого, что велосипед украл, и Петера с Паулем, что вдову и дочку ее зарезали? А вы-то, судья, их вешать приговорили.

- А вот затем именно, чтобы потом простить.

- Так проще их порошком господина аптекаря посыпать! Позабыв даже рассердиться, аптекарь кричит:

- Петер и Пауль!

Председатель смотрит на него с интересом.

- Гм, Вы думаете, они согласятся?..

- Вот и наскребли двух праведников.

- Праведники не праведники, а подумайте, чтоб человека зарезать, тоже смелость нужна.

- Да один-то держал, пока другой резал.

- Все-таки.

- Возможность уцелеть! И тогда - прощение, да что я говорю - прощение, тогда преступник становится героем, убийца - благодетелем целого города! Вина искуплена! И.. пусть им дадут выпить... перед операцией.

- Но если откажутся?

- Тогда... принудить.

- Искупай, значит, или вышка.

- Интересно, имеет ли подобное принудительное искупление силу перед лицом неба?

- Это вопрос богословский, - вмешивается Тедеско. - Светское же право, как известно, опирается на прецедент...

- Право не выводится из фактов, - возмущенно говорит судья.

- Преклоняюсь перед таким возвышенным ~~спущением~~ суждением, но вот именно выводится. Граждане нашего дорогого Гаммельна, переходя улицы, глядят на машины, а не на светофор. Испытанные легализованные прецеденты вашего случая не известны, так что случай ваш - вне права. Иными словами, это делают, но об этом не говорят.

- Благодарю за урок, экселенц. В самом деле, чрезвычайные меры, к тому же временные, не всегда поддаются легализации.

Для нашей заспанной, добродушной, бесформенной провинции эти мысли пока еще слишком широки и смелы. Но судья поддается: он готов даже на поражение в споре, лишь бы не дать мне прослыть героем.

— Вы не найдете надлежащего, пристойно звучащего наименования для таких действий, следовательно, не поднимете их до уровня легализации. В истории останутся не записи, а слухи.

— Слухи очень опасны, — тревожно произносит мингер ван Пельц.

— Но чрезвычайные обстоятельства! — голос аптекаря возвышается до визга. — Вспомните чумные эпидемии, господа!

— Да у нас-то не чума. Моя жена как завопит, крыса от нее куда и бежать не знает. Вот мы все и закричим, да в тазы, в сковороды бить начнем, а то еще музыканты в свои трубы задуют — никакая тварь не устоит. И детишкам пошуметь, побегать удовольствие, уж вы, профессор, для такого случая с уроков отпустите! Утопим зверье в реке, отпразднуем...

Сколько же часов мы тут сидим?

— Вот это хорошо придумано! Только зачем тазы да кастрюли, надо автоматические погремушки, трещотки с вертящимся барабаном, особой конструкции, — то-то музыка пойдет! Англия-то не возразит, ваше превосходительство?

/Вот именно. Тарелки, большой барабан, гlockenspiel.../

— Напротив, эта веселая идея вполне в англосаксонском духе: майские пляски вокруг шеста, шумные карнавальные шествия... — И вполголоса судья: Я — демократ и христианин, но, сочувствуя вам, вижу: управлять Гаммельном не то чтобы трудно, это просто бесполезно.

— Городская казна, по крайней мере, не пострадает.

— Пожалуй... Ифак, бургомистр! Не угодно ли распорядиться? Следует все тщательно продумать: размещение людей, направление шумовых потоков, время общего сигнала, самый сигнал, — очевидно, колокольный звон; полицейские посты для предупреждения беспорядков...

Немыслимо. Смерти подобно — смерти моих ушей после трех секунд такого содома. Нет, никогда! Пусть же хоть для этого пригодится мне постылая власть.

— Господин бургомистр колеблется? Но тогда лишь чудо спасет Гаммельн!

Чудо! Река и чудо. Еще не музыка, уже не шум...

— Чудо — это так банально, — говорит Тедеско с ласковой пренебрежительностью.

Теперь или никогда!

— Не пренебрегайте банальностью, граф, — говорю я. — Принимаю банальность — как приобщение к человечности. Искупление — тоже чудо. Друзья, минуту внимания! Не надо греметь, стучать и вопить: крысы пойдут в реку сами! Мы посылаем курьера к знаменитому Флейтисту-Крысолову!

2.

Прошли две недели; слухи волновали Гаммельн. Наш курьер не без труда был допущен в Краков, но там нечего было и думать о визите в : факультет магии ревниво оберегал своего гостя, а также свои тайны. Портье Гранд-отеля не пожелал отвечать на вопросы. Надеюсь на счастливую случайность, на необходимость Мариццкого костела в любом туристическом маршруте, курьер предпринимал ежедневные треугольные прогулки между улицей св. Анны, главным рынком и Славковской; но так назойливо разглядывал и расспрашивал, что в конце концов был запердозрен в дурных намерениях. Отчаяние побудило, наконец, в честном малом изобретательность: он подкупил одного студента, и наше послание достигло адресата. И вот, когда бедняга курьер изучил в подробности каждую кавярню в своем треугольнике, от Литерацкой и Мокка до Античной, и однажды забрел в "Казанову" на Флорианской, — посредник принес устный ответ: артист бы рад приехать, но давно зван и обещался в Авиньон, Палермо, Бад-Годесберг и Кельн; быть может, там и не такая скорая надобность, но как же быть? С тем и возвратился наш посланец, изрядно потратившись и лишь од-

нажды повидав Флейтиста — издали, когда тот выходил из университета в окружении студентов, лиценциатов и юных бакалавров.

Предстояли дипломатические сложности; атташе фон Тедеско являл все свое прославленное искусство, звоня в европейские столицы; счет за телефонные переговоры достиг внушительной величины. Наконец знаменитый согражданин наш простер свою любезность до того, что сам вылетел в начале мая в Швейцарию для консультаций и посредничества. Опираясь на имперский авторитет Англии, он сумел вызвать у Европы сочувствие к Гаммельну, и теперь в отеле "Империя" днем и ночью выводили клопов: мы ожидали скорого прибытия Крысолова.

В эти полмесяца я, Жан Вальжан, не видал своей Козетты, я, Калибан, не видал своей Миранды; только сегодня я, Пьеро, износившийся за сорок лет, увижу свою Коломбину. Я был занят, бесспорно, и все же никогда до сих пор не допускал встречных посягательств службы и сладостного общения. Если что и помнил четко, так это деление времени между двумя моими вселенными. Теперь все перепуталось, и что ж это: начало старости? Последствия пьянства? Впрочем, и ты не без вины, Памина. "До июня он мне не нужен", — сказала ты старой Марте, и Марта передала это мне, сердитая и за меня обиженная. Что ж, девочка, если это твоя прихоть, да будет так, я давно уж не воспитатель, не наставник твой. И позабудься то время вовсе, не пожалю.

Добрый вечер, дитя мое, ты грустишь? Вот я тебя позабавлю рассказями. Флейтист-Крысолов приехал сегодня утром! Город высылал за ним экипаж — старинную герцогскую карету, лошадей целый день скребли, чесали, украшали султанами. Свою лошадку помнишь? И ее впрягли, славная четверка получилась. И — разминулись! Пустая вернулась бы карета, да наш добряк Ганс подобрал на дороге мальчонку: неладно, говорит, порожняком возвращаться, взял этого — за сына будет; только как же приезжий-то? Мальчишка чумазый, сидит на плечах у Ганса, глаза — как две вишенки, знаешь, когда ягоды на верхушке дерева остались и оттуда дразнятся. Хотелось бы тебе сынишку?.. Да, так разминулись. Ганса я утешил,

себя — не очень, под утро только заснул. И на заре — звонок! Смеющийся голос приветствует бургомистра славного города Гаммельна. "Рад безмерно, маэстро, да как же вы до нас добрались?!" "Прошелся пешком по лесу, солнце взошло, птицы проснулись, — видали вы, бургомистр, лучи на поляне? И..." — нет, не буду повторять, не звучат его слова, на мой голос переложенные. Жалеет, что огорчил фореитора, бейрейтора, словом — кучера. Нет, дитя мое, это не случайность: он артист, на что ему наш пыльный бархат — изъеденные молью подушки, занавески, резные ручки, — лавка старьевщика на колесах! Он мерит пространство ногами, и не в постели грезит о прелести рассвета... Чудесно, говорю, где пожелаете остановиться — быть может, в ратуше? Лучшие покои отведем! — Номер в отеле, не надо беспокоиться, отвечает молодой баритон виолончельного тембра, я скоро уеду, ждут! Помилуйте, да покажитесь городу, поиграйте, — у нас в Гаммельне кто ж не музыкант. Смеется: Так и задумано, а пианиста найдете? Как не найти, пришлю сегодня же...

Уговорились: два концерта для нас, третий — утренний — для крыс. "Орфей и фурии усмиренные — не токмо нас возвышающий обман, с малою поправкою на житейскую прозу — крысы вместо фурий, кто не верит, пусть проверит..." — а он уже не слушает, я и не уловил, когда в трубке щелкнуло.

Бог-свидетель, душа моя, я рад нелицемерно. Сгинут — не сгинут крысы, а музыкант он хороший. Как я это знаю? Так думаю, и сердцу весело думать так! Вот послушай-ка, на это многие надеются: выгони сегодня крыс, завтра вывези мусор, вымой окна — послезавтра засияют глаза, расцветут улыбки, любовь взойдет в небесах... Я не отвергаю, нет, ведь никто никогда не пробовал доделать до конца... Но что если крыса в сердце человеческом — гаже амбарной? Пойдет ли за ним амбарная, как знать, мне не до этой крысиной магии; но крыса человеческая подвластна чуду, чуду только и податлива. О том и думал, слушая голос музыканта, и предвижу, любя и злорадствуя, как схватятся за грудь добрые гаммельнцы, когда прочь побежит их крыса! Какой визг и писк, какая толчея! Как заскрипят их мозги, осмысляя случившееся! Туда дорожка и моей крысе... Мучительно

и благодетельно. Собирайся, девочка, послушаем Флейтиста, — тебе бояться нечего, твой дом чист сверху донизу. Неловко? Бог с тобой, дорогое дитя, кто же нас не знает — бургомистра и его воспитанницу.

Овации встретили артиста; и как просто он стоял там, высоко над залом. Длинные, слегка расставленные ноги марафонца, крепкие бедра, широкие рукава зеленого камзола, белый прямоугольник рубашки, глаза смотрят в зал с веселым любопытством, на голове зеленый бархатный берет. Рука с флейтой плавно взлетает, он склоняется, приветствуя публику, — не паж, робко влюбленный в королеву, не бог и не дьявол, — странствующий подмастерье, сговорчивый и лукавый, бродяга не из нужды, а по вольной воле. Величие? Величественны старики, магистр величав... а я и в старости не обрету величия.

Перед ним попитра нет: вся игра будет наизусть. Пианистка Бербель, племянница магистра, раскрыла ноты — не крюки, не невмы, привычные наши смородинки на черенках; руки ее дрожат от волнения. Все как обычно, — но что ж это? Флейтовое соло из Орфея? И старого Глюка он играет с таким вольным акцентом, словно бродячий акробат удобно расположился в тени под деревом и насвистывает своей подружке? Звук тонкий, острый как игла, чуть резковат, быть может, а хорошо... Хорошо, чудесно, но я не меломан только, я бургомистр, внемлющий долгу, — вот такой-то музыкой он будет ворожить этой хвостатой гадости? Ах да, вспоминаю, — он ведь импровизатор, ступень промежуточная от исполнителя к композитору, искусство, ныне утраченное. Бедняжка Бербель, рояль отрывисто твякает: крысы сгрызли прокладку на молоточках... Надеюсь, рояль ему послезавтра не понадобится: женщины крыс боятся, и не тащить же этот катафалк в воду? И Бербель сама не легче... В самом деле он войдет в воду? И как далеко?

А вот этой пьесы я не знаю: старинный напев, не позже 14 века, похоже на гальярды Бертрана, но какие странные славянизмы, — Богемия? И что за ритмы буянят в этой наивной, далекой, полузабытой мелодии, будто инъекция молодой

крови? Ай да Бербель, молодчина, справляется, ловчит вдохновенно, не глядя в ноты, — а ведь мы с ней одной выучки, доброй старой школы: играй что есть в нотах, и только то, что есть в нотах, и ничего кроме нот...

Ты слушаешь, девочка моя, слушаешь-смотришь, будто у тебя перепутались глаза и уши. Я тихо, тихо надеюсь: ты как-нибудь догадываешься, что это для тебя я выискал диковинку. Что мне до прочих и до прочего!

А публика слушает и почесывается: грязен Гаммельн, грязна мука на мельницах, грязно звучат гаммы у школяров-музыкантов. Публика слушает ртами, вытянуты шеи, подняты вверх, шевелятся острые крысиные морды... Ах, что же это: зал сотрясается, позвякивает люстра — наступил час ночных грузовиков с мусором, впопыхах никто не сообразил поменять маршрут, — и Крысолов у рояля приплясывает, перед Бербель вместо нот — его берет, а в зале стучат хвосты под креслами, его взлохматившиеся волосы поднялись рыжей короной, и флейта — словно палочка, и крысы не сводят глаз со своего рыжего пьяного дирижера!

/Чьи это стихи? Кого благодарить за незабвенный дар, хранимый с юности?/

Как здесь душно, оказывается. Что делать, зал наш убог и тесен, изнемогает от невиданного людского скопления. Пойдем, дорогая, артист устал, он не станет бисировать, рояль закрыт. Но нет, он играет — один, простую тихую песенку, куплет шубертовской "Липы", — и вот уже слезы умиления смывают с глаз чертовщину, на миг причудившуюся. Хоть он снова взламывает ритм синкопами. Довольно, довольно: испытанный восторг уже преисполнился нетерпения, неблагодарный: скорее прочь с глаз, прочь из ушей. Идем, девочка, за стенами — прохлада, влажная ночная тьма. — Любезный, где это вы успели охмелеть, не на концерте же? Подальше от дамы, прошу вас. — Если не умереть экстравагантно рано, если в пристойной длительности удержится жизнь, в тебе поселятся и приживутся двойные изображения; тогда не спеши, не разбивай первое ради последнего, и последнее ради первого; не ожесточись... Чем припомнится тебе через годы эта музыка: грехом, благодатью, насмешкой? Подожди: не су-

ди поспешно, ни себя, ни музыканта... Опять я менторствую невпопад. "Прими сиротку, сударь, родители почтенные люди были, — сказала мне Марта, — большая выросла, кормить-поить-укрывать надо, а там-замуж выдавать, мне одной никак. А тебе дочкой будет." Годился ли я в отцы, оробевший музыкант? Не найти сочувственного слушателя, не найти готовности понять. Все они, давние приятели мои, были неприкаянными, бродило среди них, пошатываясь, само окаянство, а я так хотел стоять перед судьбой достойно! Я оставил музыку ради службы в магистрате, и так успокоителен был этот скромный, но постоянный достаток и ясность на годы вперед! Вторжение ошеломило меня. Смутил призрак семейного бременя, и, боюсь, я не был с вами обоими приветлив. Марта не пожелала заметить мое недовольство; она обошлась со мной пренебрежительно, как после той давней и единственной встречи, когда мальчишка, посвящаемый ею в некую науку, оказался плохим учеником. Но бесследно исчезло ее веселое прошлое, и она воспитала тебя в удивительной строгости, не замечая нынешних непринужденных нравов. Ты была безучастна, ты привыкла не привыкать к новым лицам, — и вот мне захотелось, чтобы ты отличала меня от соседа, молочницы, от кота, от стола и стула, наконец! Девочка, и мне хотелось победы.

Я занялся тобой, старался обучить всему, что знал сам. Клянусь, не благодарности искал, но любопытства; ко мне одному обращенного взгляда, интонации, которую мог бы присвоить...

С какой-то смущенной радостью принимал я первые знаки твоей привязанности. О дитя мое, никогда я не помышлял о тебе как о дочери, и все же: если мужчина в опасности не может бежать, потому что с ним женщина и ребенок, то лучше, пристойней, нравственней эта невозможность, нежели свобода.

Но думалось мне еще и так: твое прежнее безразличие — не безопасней ли?

Осторожно: не споткнись об эту голову. В Гаммельне много пьяных бродяг, в праздники же сугубо. Само слово

"праздник" тревожит, досаждает мне: предпочел бы "ликование", ибо этимология его — от готского , то есть пение, пляски, — предполагает дело, занятие. Даже вольное толкование — глядеть на лик возлюбленный — исключает праздность. Праздный, пьяный непристойен и оскорбляет зрение и слух честного человека, который трудится изо дня в день, принимает скромное вознаграждение, привязан к своей семье и не желает ничего иного. Ни разу я не представлялся перед тобой в неподобающем виде... Издавна толковали у нас о сухом законе, но важные причины тому препятствовали. Однажды, восемь лет назад, я предложил тогдашнему бургомистру: пусть хотя бы раз в год, на Рождество, особая машина подбирает с улиц и развозит по домам хмельных гаммельнцев, потерявших облик человеческий. Дитя мое, я был еще молод!

Бургомистр, его преподобие Шонгауэр, признал эту меру малой, но небесполезной. Правда, в городе надо мною смеялись, прозвали автомобиль "пьяным аистом", намекая на печальный сюрприз, который получали жены от младенца Христа. Но бургомистр отметил меня своим вниманием; узнав о тебе, он пожелал давать тебе уроки. Добрый, достойный человек! Не мне занимать его место; однако с тех пор и начался мой незаслуженный, слишком стремительный успех, никого так не поразивший, как меня самого. А если позволял я себе радоваться, то лишь потому, что мог дать тебе лучшее воспитание.

Как-то раз я посетовал на резкость твоих манер. "У нее прекрасный голос, — заметил его преподобие, — почему бы не обучать ее пению? Быть может, нежные мелодии..."

Да, сознаюсь: сам я не учил тебя музыке. Какой-то непонятный страх останавливал меня. Ты ловила музыку на лету, и твои пристрастия пугали меня. Ты пела — чисто, верно — уличные песенки, банально афористичные, грубоватые, я сказал бы даже — разбойничьи... Голос твой срывался от бессознательного волнения...

Я пригласил старенькую суматошную певицу, не слишком надеясь на успех. Но чем-то учительница привлекла тебя,

ты охотно пела вокализы. С каким наслаждением я стал твоим аккомпаниатором! Как старался приучить тебя к сладостным итальянским ариям! В награду за выученный урок я приносил тебе любимое пирожное бэзе. Не знаю, хорош ли такой способ; однако занятия сближали нас. Ансамблевое музицирование для партнеров — привычка превыше кровного родства.

Но вот ты стала взрослой; приличнее было нам поселиться отдельно. Я уже опасался докучать тебе. Старая Марта иногда приходит ко мне прибираться, я же бываю у тебя не часто и не редко; выдерживаю долгие паузы. Случается, ты сама зовешь меня в неурочный день, встречаешь с приятнью, рассказываешь и спрашиваешь, — впрочем, слушая мои ответы рассеянно: дети знают, что взрослые не ждут от них заботы или совета. А я не из тех, кто внушает тревогу.

Сюда, сюда, девочка; и как это не убраны нечистоты вблизи твоего дома! Я и такта не пропустил твоей музыки; угадаю наперед каждое слово твое и поступок. Уверен, что изучил тебя лучше, чем ты сама себя знаешь, это моя маленькая хитрость, которую не выдам. Сейчас, после музыки Флейтиста, — узнаешь ли ты себя, Памина? Узнаешь ли назавтра? Хорошо ли, что ты, что мы ее слушали? Говорил ли я тебе, что и мысленно не звал тебя дочерью?

У тебя высокие светлые комнаты, окна на юго-восток, — не сразу нашел я старинный дом в укрытии липовой рощи. Весной здесь поют соловьи, в июле цветет липа, и нет в мире постоянства надежнее. Соседи — тишайшие старые супруги, Филемон и Бавкида, а еще — добрый седой архивариус, иной раз я захожу к нему послушать рассказы о древних хрониках Гаммельна. Снова повеселиться вместе? Музицировать в угловой комнате, где стоит твой маленький рояль? И потом не уходить одному домой... Да-да, рояль задирает третью, заднюю ножку, а его зашуют трубкой свернутых нот — за плохой аккомпанемент! Уж не лучше ли продолжать наш прежний дуэт — не быстрее, своевременно чередуя мажор и минор? Ах, девочка, я не игрок! Нравственный закон в нас, звездное небо над нами, — как волшебю уйти под это небо налегке, а вам с песенкой, с флейтой не сундуки укладывать, — но как будет странствовать сорокалет-

ний подмастерье с роялем за спиной? Да еще справлюсь ли с ремеслом?

Что ты сказала? О нет, дитя, старая музыка — не пирожное бэзе, это слишком резко. Даже Дебюсси, при своей приторности... Фавну жарко, фавну лень, голова запрокинулась, он выронил свирель, — а послушай, как шевелятся острые уши, как исподволь елозят по траве копытца — сами по себе, он про них знать не знает, уличай, обличай, стыди его, — он только приоткроет глаза в невинном удивлении...

Козел вместо бэзе.

Но, конечно, германская муза питательнее, даже шубертов липовый цвет — вещественнее...

Вот ты и дома, Сабина, — придти завтра? Приду; когда тебе хочется? Утром? Чудесно, утром. Право, ты резко судишь о старой музыке — по-детски, по-женски...

Она тронула уже колокольчик, и вдруг обернулась и сказала с веселой улыбкой:

— Мы вместе учились в школе. Его зовут Клаус.

3.

— Успокойся же, Бербель, поди отдохни, еще лучше — засни.

— Ах, дядя, не до сна, опомниться не могу, страшно.

— Что вы, дорогая фрейлейн Бербель! Вы были блистательны. Я давний поклонник вашего таланта, но сегодня вы превзошли себя.

— Вот именно — превзошла. Вы знаете, дядя, у меня на сцене мандража не бывает, все выучено, с партнером никаких недоразумений. А сегодня... глядите, до сих пор трясет.

— Милая фрейлейн Бербель, вы лучшая пианистка Гаммельна, не устану это повторять. Какая техника, какое чувство стиля! Какое равновесие в ансамбле! Вы так мастерски уловили манеру нашего гостя, так применились к его звуку, далеко не обычному. И что еще удивительнее: вы аккомпанировали наизусть! Позвольте узнать, кстати, что это за пьеса вы играли — в самом конце? Неужели... право, боюсь высказать догадку, чтобы не переполнилась мера моего восхи-

щения, — неужели вы импровизировали аккомпанимент?

— Вот тут-то самый ужас и был. Простите, бургомистр, — нет, дядя, не хмурься, я должна еще выпить. Два часа на сцене в таком напряжении, руки сводит, любой тебе скажет, что надо мускулы расслабить...

— Нехорошо, Бербель. Что сказал бы профессор, увидав невесту пьяной. Эти кафешантанные манеры тебе не к лицу, ты уж не девочка.

— Знаешь, дядя, я твоего протеже не терплю, но сейчас чтоб мне провалиться, не отказалась бы, и поскорее. Чтобы завтра не играть — по семейным обстоятельствам. Вы говорите, бургомистр, "уловила манеру". Еще та манера: играть без репетиции, не договорившись с концертмейстером! Когда он начал эту... это... черт знает что такое!

— Бербель, не бранись!

— Черт знает что такое, говорю! Кошмар: он начинает, а я без нот не знаю, что делать, и вдруг беру аккорд, второй, откуда что берется, куда девается, нахожу басы левой — как во сне — лечу, земля далеко-далеко внизу, помню, что могу упасть и не падаю, по спине мурашки... Нет уж, не надо мне таких наптий! Ведь убей не повторю, что играла. Что-то в нем не то, дядя, положил бы крестное знамение на него, и на меня заодно.

Часы магистра, осанистые и важные подобно хозяину, бьют полночь. Густой колокольный звон в малую терцию.

— Вы пережили высокие минуты, дорогая Бербель. Не пугайтесь вдохновения, даже если оно мистично. Разве сама музыка не заключает в себе нечто мистическое?

— Черта с два, у меня от этой мистики с детства мозоли на пальцах.

— Бербель, ты охмелела. Иди с богом, спокойной ночи.

— Друг мой, ваша славная Бербель приобщилась к чуду, и это потрясло ее. О волшебная флейта! Как мы робеем пред необычным!

— Вы не оробели как будто.

— О нет, и я в смятении, и к вам принес, непоколебимый друг, мое смятение. Выпьем, магистр, за волшебное смятение! Мы давно не видались, вы сказали мне недобрые

слова тогда, в ратуше, но сейчас — выпьем!

— Извольте. Я с огорчением вижу, что вы мальчишествоуете. Такой легкий ветерок сорвал ваши паруса, сломал ваши мачты? Вот этот дешевый шарлатан вскипятил вас до бульканья? Вы же пускаете пузыри. Ваш восторг несоразмерен с предметом.

— Магистр! Еще вчера я повторил бы ваши слова: мне ли равняться с вами крепостью убеждений, блеском красноречия. Но как отрадно свидание с юностью! Не смейтесь! Разве я пьян?

— Да когда ж вы не пьяны, мой превознесенный друг.

— Пусть — во имя идеала!

— Сильно сказано. Не спорю, иной раз недурно позабыться и этим, но вы непростительно путаете Тамино с Папагено, благородного принца с дикарем-птицеловом! Истинная музыка крепка как скала, ; она имеет начало и конец, направлена к цели: я назвал бы ее телеологичной в высшей степени, потому-то церковь и заключила с ней союз навеки. Музыка векторна. Вырывая мгновенье у хаоса, она придает ему форму окончательную, обжалованию не подлежащую, и движется дальше не колеблясь, не возвращаясь. Эта музыка — в родстве с Великим Устроением... И лишь у ног ее — не выше колен — мотыльково мелькают случайные мотивы, песенки... Тема тысячу раз меняет обличье, музыкант без конца возвращается вспять, разрушая уже созданную форму, не умея или не желая определить ее раз и навсегда. Эта вечная неуверенность — немощь или злая воля, побуждающая путать, сбивать с толку? Вариации только прикидываются формой: концентрические круги без развития, топтание на месте... Разве не обрываются эти пьески где попало, не помышляя об итоге?

— Но, мой друг, вариационная форма стара как мир. Классики не гнушались ею, и даже степеннейший Брамо...

— Ложное сходство! Моцарт, Бетховен, преображая тему, строго указуют ей путь; их варианты — маска симфонизма, божественно телеологичного по своей природе. А нововенская школа? Веберн не оканчивает свои опусы сомнительным много-

точием. Мы с вами провели немало часов, восхищаясь логичностью их построений, неотступным движением к выводу. Нет, не вам аплодировать развеселому хаосу, который обманом захватывает власть, дурача и мороча доверчивую толпу!

Его соображения, как всегда, глубокомысленны. Но сейчас мне не хотелось бы низводить мою радость до ужасов музыковедения; удар часов ободрил меня; "по-ра!" Час ночи.

- Признайтесь: вы суровы из самолюбия. Ах, если б вы не отвергли мои уговоры, если б мы сидели там рядом, вы тоже были бы побеждены. Поверьте: преклонение возвышает! Боже правый, как я счастлив: мои уши слышали, мои глаза видели его -

!

- Вот как. Боюсь, ваш экстаз сомнительного свойства совсем как страх бедняжки Бербель. Но у нее-то животик... гм... впрочем, у вас тоже будет скоро. А вам, не случалось дружить с мальчиками? Так или иначе, этот гаер опасен. Следовало предвидеть.

- Предвидеть чудо!

- Чудеса, сиречь мошенничества, сиречь шарлатанства, без малейшего напряжения предсказать можно. Всегда одни и те же, они назойливо похожи, эти пикантные подробности мифов, легенд и житий. Изюминки в пироге, каковые старательно выковыривает и пожирает с чавканьем
Человек Сопящий.

- Я, кажется, имел несчастье вас разгневать.

- Не то что бы... но вы правы: я увлекся и заговорил с вами на языке вашего подтекста. Вернемся к крысам. Они будут изгнаны?

- Никогда не поверю, чтобы это тревожило вас. Крысы, лягушки, клопы, тараканы... Нет, не мелкую эту нечисть, вам пристало изгонять самого сатану, громадного и раскормленного. Даже я в этот миг не думаю о крысах. Я жду для Гаммельна очищения искусством, бескровного искупления!

- Трогательный обычай: именовать пугающее благостным в надежде, что имя прилипнет и обезопасит.

- Ваш ученик! Без колебаний я даю имя человеку и событию, и уверенно жду, что имя явит свою магическую власть.

И как знать: воспрянувший Гаммельн не оценит ли наконец вас по достоинству?

— Что ж, да сбудется по слову вашему. Или: берегитесь, что сбудется по слову вашему. Не выпьете ли?

— И впрямь я пьян, а вы по доброте своей хотите отрезвить меня. Но я продолжаю быть пьян, и меня томит соблазн сквитаться с вами... за все. Во-время явились вы в мой невинно-растерянный мир, чтобы нанести порядок, громко и отчетливо, с прекрасной дикцией назвав все вещи своими именами. О, какая в этом сила, мне ли не знать, как она покоряет. Ведь имя можно дать лишь однажды, это деяние, мне самому недоступное. О дивная эйфория бесспорности! дозволено покемарить минутку: он устал от времени непрерывного выбора. Те лабухи пусть самовыражаются, окосев от вожделенной свободы, но я-то другое дело, я провел столько лет в страхе и трепете, как бы не облажаться, и всегда слышал: ладно, мы тут в дым укиравши, да нам можно, а тебе — ни фига, поди скорей квартет напиши с такой клево-клево полифонией. У кого фантазия не хилеет... Позерство, бравада, ведь знаю же я, что не так, между двумя шуточками, написана "Волшебная флейта"! Но слово разит, отец мой! Насмешка убивает! Званный, но не избранный... И вот тогда-то: "благо", сказали вы, и сказали "зло". И я повторил за вами, ибо **увидел**: вон то зовется благом, а вот это злом. Вот она, ваша переливчатая мантия, роскошно расшитая, ваши туфли с загнутыми носами, ваш шелковый тюрбан, украшенный магическим рубином. Вы великий виртуоз, и природа вашей власти та же, что у Крысолова, так зачем же вы зовете его фокусником и шарлатаном? Вы подменяете вещи названиями... о, простите. Я, должно быть, сильно пьян, как в тот час, когда вы открывали мне окончательную истину. А что если в одно прекрасное утро задохнешься в окончательности, и забарабанишь кулаками в стены окончательности, и восстанешь против окончательности, уже не заботясь об истинном и ложном, но потому только, что окончательность не расцветает вариациями?

— И человек пойдет искать страх — чтоб сердце замирало, жутко и сладостно разом, пройти по краю пропасти

или встретить дракона с грозным гребнем, чешуйчатым хвостом, а то с дудочкой в руках. Впрочем, вас, милый, и дракон выплюнет. Давно, давно мне надо было выдать Бербель замуж!

- За этого вашего домашнего шута?

- Нет, домашний шут у меня другой, - ответил он ласково. - А этого держу за слух. Представьте, у него абсолютный слух на богослрвскую прозу, Босквз бы лучшего не пожелал. Проверяю на нем фразы, периоды.

- И потому Бербель будет счастлива?

- Бесспорно. Это трехчетвертной такт: место, время, слово; и пауза, когда надо, на третьей доле. Он из школьных учителей. Заметьте, он имеет форму, целиком отлившуюся из функции. Отливка совершенна; ни раковин, ни вздутий. Быть может, он не умеет хотеть, но ведь хочу за него я.

- Классик!..

- В своем жанре. А ваше пренебрежение - не лисовиноградно ли? О, вы опять...

- Во имя свободы! Самообмана, я ведь знаю, мы окружены скрежещущими названиями и надписями, и выбор дозволен лишь внутри круга. Но мы можем, можем однажды изменить вашей магии - с той, себя не стыдящейся, с вакхической любовью, с банальным чудом!

- , дорогой мой. Вы вернетесь, чтобы полечиться ртутью. Не симулируйте ностальгию по юности и воде, вам же мидее вечный двигатель с гарантией. Порядок и трезвость надежды, якорь держит, канаты прочны. Вакхическое же опьянение слишком быстро выветривается, и похмелье мучительно, непристойно-потешно... Эта мелодия! Нет, она не "льется" - согласно паскудной метафоре вашей музыкальной критики, она продирается сквозь частокор синкоп, изодранная, окровавленная, взвизгивая от боли! Зеленые рукава и берет под костром волос, руки и ноги на шарнирах, грудь, спина и живот под ударами ритма, ритма, и ритм пинками воскрешает трупы!

- Магистр! Вы... вы были там?!

Никогда, никогда я, знающий этого человека много лет, изучивший рисунок кожи на его ладонях, не видал его в такой ярости. Мраморная каминная доска разлетелась от

удара. Заметив мой испуг, он овладел собою и сказал негромко:

— Не знаю, что вы имеете в виду. Ваши обязанности призывают вас, бургомистр. Вы сильны в планировании, но конец может подшутить над началом.

Это намек — на что? Я пил прилежно и другом был поощряем, но из последних сил пытаюсь уразуметь: наше с ней начало десять лет назад не приведет ли ее и меня к какому-то концу, — ах, хмельное косноязычие даже в мыслях! — а мне бы надо меж началом и концом поискать дорогу?

Часы гулко окликают: "Бе-ги! Спа-сай!"

Меня тревожит нечто неназванное; нечто известное всем, но не мне; должно быть, что-то, на чем стоит мир. Но минует остаток ночи, и я приобщусь ко вселенской чаше: как ни отворачиваюсь, край ее надвигается на меня.

Кажется, он сильно ушиб руку: когда я уходил, он все еще поглаживал левой ладонью правый кулак, не разжимая его.

4.

.. Стой тут один и не говори: "Невозможно! Невероятно!": не до того, когда нужно успеть так много. И прежде всего узнать, каково оно на вкус, цвет и запах, это невероятное. И далее: значит, я неотличим от других, если ограничиваю пределы возможного своим воображением?

Мне также надлежит понять: зачем я здесь, под ее балконом? Или иначе: зачем я здесь, а он там, когда натуральнее было бы наоборот: я там, а он здесь — чтобы играть, как подобает при любовном свидании, сопроводительную серенаду на дудочке? Или еще иначе: если он там, то зачем я здесь?

Я видел, как он вошел, а он меня не заметил; старая липа возле твоего дома послужила мне укрытием. Утром ты дала мне письмо: я должен отнести, подождать, пока он прочтет и напишет ответ. Потом — принести ответ. В письме нет ничего запретного для чужого глаза: не придет ли давний школьный приятель в гости — в любой вечер, когда захочет придти.

Девочка, я никогда не видал тебя раздетой. Придется вообразить, а статуи и картины не помогут: ты и вполонину так не избыльна. Я привел его и остался подождать, как Лепорелло, как шофер у подъезда /только я не засну, радуясь передышке/; а потом, наверно, провожу его. Поэтому, видишь ли, я уже не лишний в том, что происходит наверху, и должен хотя бы мысленно увидеть вас обоих.

Да, я почти что привел его. Прочтя твою записку, он рассмеялся удивленно: "Вот неожиданность! Неужели та девчушка, светлые локочки? Приду, сегодня же, после концерта! А эта улица — где же?" — и я рассказал дорогу и даже нарисовал для верности твой дом, мост, фонарь и липовую рощу. И подумал, что за стволом липы хорошо укрыться.

.. Надеюсь, меня не осудят слишком строго за то, что не предупредил его об уличной грязи, столь неприятной ночью. Тем более, что я тут же устыдился, отомстив так мелко. Но что говорить об этом, если я сделал промах безмерно больший! Я не объяснил ему, что ты еще дитя, что первый раз ошеломителен даже для мужчины... Боюсь, он поторопится. Боюсь, он не будет достаточно осторожен и бережен с тобой. Он будет слишком скор, с его ногами бегуна-рекордсмена, — мимо, мимо, только бы разорвать ленточку! Я — нет. Пусть руки пройдут долгий, долгий путь — выше-выше и ниже-ниже, пусть обучатся на подъемах и спусках, умнея с каждым поворотом. Откровение нисходит на меня: например, в аптекаре я обрел бы единомышленника. Вот кто, неистово вождедая, сумел бы выжидать, бесконечно оттягивать. Судья — тот вычертил бы график. А насмешник? Но нет, насмешники не умеют любить, и в этом — мщение. Так. Я отдаю тебя на пробу змеям, быкам и драконам — всем, кроме себя. Этих уроков ты у меня брать не будешь. Правда, я не искусник, не виртуоз, но знаю нечто. Вот детская книжка с картинками: черные контуры на белой бумаге, а ты раскрась сам. И, пожалуй, прибавь что вздумается, на что и намек не было: из оранжевой трубы пусти струю синего дыма, нарисуй в желтом кругу зеленые цифры и стрелки: почему бы солнцу не быть часами? Дерево, выросшее на пустом месте, голая земля,

ставшая садом возделанным, где прогуливаешься, рифмуя "тень - сень". Стереги, обихаживай виноградник - соберешь урожай. Разрисованная смерть: коса, белое одеяние, конь, факельщики, оркестр... Суп из топора, из колбасной палочки. Ведь она - ничто, только краткое и грубое мгновение - как то, другое... Не мысль, не ощущение. Нет того, что я хочу назвать. Но я произношу слово, и оно воплощается, - не иначе, однако, как после долгих, рачительных, искусных приготовлений.

Ты не веришь? Мне только теперь приходит в голову, что ты могла ведь и не принимать меня всерьез, молча выслушивая наставления. Но моя ли вина, если это действительно так? Смотри, я ничего не выдумываю: Зигфрид кует меч, идет в пламя ради одного поцелуя. Моцарт - кто более достоин веры и любви?! И он похищает Памину у матери, чтоб она не досталась первому встречному, а избранник Тамино должен пройти огонь и воду и все дьявольски изогнутые медные трубы в хоральной фуге второго акта. И это еще не так много: ему не надо сверхчеловечески напрягать силы в поисках идеала! Возлюбленный идеал стоит рядом, безмолвно обратив к нему лицо, пока претендент совершает необходимые упражнения. Всегда, непременно или длительный охмуреж, как говорилось на богохульном языке моей юности. Повторяю, тут традиция, а не мое мазохистское измышление.

- Не мне говорить о музыке, когда музыкант - он? Но ведь и я был, был... Нет, с ним ты ничего не узнаешь. Слепая, слепая, лежи-навзничь!

Ты сама открыла мне утром; ты стояла в рамке двери, чуть наклонясь вперед, глаза сужены - так вглядываются близорукие; но это я, кого ты ждала, - так вверх, брови, кликнув за собой веки, и вот серые глаза раскрыты, ты узнаешь меня, и удивляешься и радуешься, что это я, кого ты ждала, и пока еще никого, кроме меня, которого ты ждала. Улыбка; ты наклоняешь голову, тонкая рука привычно поднимается к черному узлу волос на затылке. Да, он радовался, но он не узнал, не вспомнил тебя. Я упоминаю об этом не

со зла: думаю, и ты не рассердилась бы, мало ли в школе было девчушек, белокурых и черных, и столько лет прошло. Волосы у тебя прямые, блестящие; если будешь тонуть, легко схватить, намотать на руку. И вытащить тебя из воды не трудно будет, костлявенькая, без округлостей. Как-то он прижмет твои косточки, и шейку обхватит первым и третьим пальцами... а я распустил бы твой узел, рассыпал бы твои волосы, — помнишь, Марта заставляла тебя убирать их со лба: ишь, воронье гнездо, застрека! Шестнадцати лет ты подрисовывала себе глаза; я решил "не заметить", а ты встретила меня с волнением: что скажу?.. Его преподобие Шонгауэр, придя на урок, нахмурился за то, что дочери племени сего ходят размалеванные, — и к тому же разбрасывают в беспорядке книги и тетрадки... И через день ты вышла к нему вскинув голову и крепко сжав губы — густо, неумело намазанные. Добрый пастырь смирился. "У нее нет матери, — сказал он мне, вздыхая, — надо быть снисходительным. О, это дитя уже хочет нравиться!" Я понимал твое строптивое кокетство, но сердце замерло: если бы ты захотела нравиться мне!..

Ты объяснила, — что не могла послать с запиской Марту; в отеле "Империя" — строжайший контроль, приняты чрезвычайные меры безопасности, возможно, не лишние, ибо все опасно, всюду может стать опасно; и надо же оградить маэстро от толпы восторженных поклонников. А бургомистр пройдет беспрепятственно. Ты не послала Марту, но не потаила от нее, и когда я спускался с лестницы с запиской в нагрудном кармане, — уголок наружу, как краешек платка, — Марта догнала меня и яростно зашипела, воскрешая свой прежний рискованный лексикон: "Дождался! Обглодали до черыжки! Да с твоей-то..."

Да, я жил долго, я вытянулся высоко, меня качает как камыш, и голова моя кружится, когда взглядываю вниз, где из земли начинается стебель: на всю печальную длину моих сорока лет.

Когда ты прощалась со мной, я видел, что теперь ты начинаешь ждать по-настоящему: даже если уйдешь от двери и сядешь в кресло с книгой, уши твои останутся в прихожей

висеть на двух гвоздиках, настороженные. Как эти уши слушали его вчера, как вся ты боялась шелохнуться, чтобы не потерять нить мелодии. С тех пор она проросла в твоём теле, пустила корни, живот и грудь стали стволом, а ветви — руками, и листья шумят в твоих волосах. Что ж, даже ручей, говорят, выходит из берегов при звуках флейты...

Однажды я поднял тебя с постели, заспанную: ты не суежилась, засовывая в углы белье, не смущалась, что не умыта, не причесана. Ты была свежа и душиста. Не лучшее ли это в тебе — твоя юность? Ибо ты неумна, девочка, вкусы твои сомнительны; быть может, ты даже не так красива. Да, наверно: будь ты красавицей, я не посягал бы на тебя.

И он занял мое место! Ах, почему нет у тебя аристократического брата наподобие фон Тедеско, чтобы рыцарственно защитить твою честь! Жалкая пикколка, тра-ля-ля, грошовый Дон-Жуан, не обученный терпению, терпению — не ослиной добродетели, но терпению виноградаря, садовника. Он ворвался в мой сад, готовый, быть может, — расцвести для меня, он ввалился в мой дворец, ступил небрежно ногой на яшмовый пол, его берет отразился в венецианских зеркалах! А там, в отдаленном покое, я приготовил трон для моей сущности, и вот он поворачивает медную дверную ручку, начищенную до блеска моим воображением! Он занял мое место на пиру, и ты, хозяйка пира, царица бала, признала его за хозяина. А ведь ты была моим возвращением домой, моей наградой. Люблю тебя: восторгаются глаза, ликует ноздри, уши блаженствуют от вздора, произносимого твоим голосом; язык во рту акробатствует в словах, к тебе обращенных, пальцы касаются... пока всего лишь клавиш твоего рояля, но и это уже огромное счастье, коим страшно рискнуть. Риск, риск, последняя проверка, когда суть воспринимается сутью без опосредования. Признан или отвергнут; и если признан, то оправдан. Подтверждена моя тщательно, прилежно разработанная, собственноручно раскрашенная любовь, а с нею мое вчера и сегодня, и спасено от сомнений мое завтра. В тебе мое прибежище и на тебя уповаю, — но с ужасом: обнаружусь только ложь при этом последнем испытании, ложь, разгаданная твоим нелгуцим... Девочка, девочка, я не игрок!

Уж не услугу ли оказал мне этот мимоидущий свистун: я утешусь хотя бы тем, что свергнут, изгнан насильственно, что я мученик, жертва, но не осмеянный мыльный пузырь.

А чувство юмора — есть ли у него? Вряд ли: он ведь гений. Тебе будет плохо, девочка, когда он очнется...

Он вторгся в обиталище моей сути, он занял мое место под солнцем и луной — там, на твоей постели, где смешиваются сейчас рыжие и черные волосы, неразличимые в темноте, а по стене бродят тени ветвей и листьев. Где теперь на земле мое место?

Перед твоим домом речка очень узка; мост крут, выгнут, как спина рассерженной кошки. Таков он не из строительной необходимости, а, думаю, из нервной на тот случай фантазии архитектора. Был он чуть хмелен, или раззадорен, карандаш в руке рванулся вверх, — но то была рука с давней выучкой, обратившейся в инстинкт, рука со своим непредающим, крепче головного умом, и линия вышла дразняще, изысканно прекрасной. От хребта кошки летят искры и с шипением гаснут в воде. Мост начинается почти у самого твоего крыльца.

Его тень возникла рядом — протянуть руку, и голова тени под моей рукой, значит, он уже между фонарем и мостом. Этот берет не перепутаешь, таких не носят в Гаммельне, весь Гаммельн знает этот берет, а он не боится, не скрывается, боюсь и прячусь я, бургомистр. Фонарь не ярок, никого нет, никто не увидит, как тень моей руки с тенью ножа врезалась в тень берета, никто не услышал удара и падения тела; слышать нечего, все совершилось изумительно беззвучно, я сам изумлен удачей. Я не стал смотреть ему в лицо, зная, что он и теперь моложе, сильнее, совершенней меня, что все зубы у него целы; я поднял берет и шагнул к фонарю. Три широких клина, посередине кисточка. А там он снимал его? Я туго завернул нож в берет и сунул в карман. Маленькая дудочка в твердом кожаном футляре, ремень через его плечо — а теперь через мое: я не стал отстегивать, просто взял все вместе. В руках и ногах у меня все еще было больше силы, чем я ждал от себя; я втащил его на вершину моста, к большому изгибу чугунного узора, и снова получилось легко и бесшумно: мягкий, приятный всплеск. Тут на

меня напал смех: "...и на мостике горбатым повстречался с белым братом". Говорит барашек: м-ме! Ты, баран, в своем уме? Пусть мои отсохнут ноги — не сойду с своей дороги!" Да-да, в детстве я декламировал эти стихи, стоя у этого изгиба, и мама довольно смотрела на меня. Я родился и вырос в Гаммельне, а уезжал только однажды — на три дня в Бремен, там и встретился с Мартой... Изю всех сил сдерживая смех, как кашель на концерте, я покраснел от натуги, на глазах выступили слезы. Как же это он так быстро ушел под воду? Ведь берет у меня в кармане! И нож с тяжелой рукояткой. Нож не будет уликой: не из столового прибора с монограммой; до отпечатков же пальцев гаммельнская сыскная техника не дозрела еще.

Ну, раз его нет, то, возможно, не было и того, что было наверху, за дверью балкона. У нас с тобой ничего не переменилось. Я по-прежнему буду приходить, когда позовешь, так продлится до окончания века, и благо. И липа зацветет в июле. Что ж с того, что его звали Клаус и ты одна это знала. Крысы тоже останутся; но это же классический конфликт любви и долга в литературе, преимущественно драматический. В искусстве — значит в реальности, утверждает мой друг магистр, а когда же он не прав? В моем случае победила любовь, — что ж, появится прецедент. Как это он, однако, решился на любовные подвиги накануне своего магического сеанса, который потребует упругой диафрагмы, громадного расхода дыхания. Певцам рекомендуется воздержание в ночь перед спектаклем, у музыкантов — духовиков разве не то же?

Ах, я поторопился. Не расспросил его, как и что, насколько верен оказался мой волшебный фонарь, в котором я созерцал их сцену. Такие, как он, не джентельмены, они выбалтывают. Теперь выбалтывай лягушкам, проповедуй рыбам! Рассвет: заря скалится в воде. Но я до сих пор не подумал: она провожает его, наверно, вышла на балкон посмотреть, как он снимет берет и помашет ей на прощанье? Я поднял голову: балкон пуст. Устала Коломбина, спит, утомил резвый Арлекин.

Я не сказал еще, что все время пытался и не мог вспомнить, как же называется то, что я сделал. Должно быть, из-за новизны состояния; что делать, есть время называть и время умалчивать. Пока я стоял, подняв лицо к балкону, совсем рассвело. Кто-то толкнул меня в плечо, я упал бы, не окажись за спиной фонарь; обернувшись, я увидел на вершине моста легкую длинноногую фигуру, увенчанную беретом. И кисточка...

...но тут уж я, автор и как-никак хозяин этого повествования, не могу не вмешаться. Если позволить этому бесполому администратору, этому шуто-экогибиционисту продолжать, — это может повредить моей, автора, репутации; помешать успеху моего скромного начинания. Придется напасть на него сзади /не до церемоний/, зажать рот, сбить с ног и оттащить в сторонку... Впрочем, еще не известно, как предпочтительнее поступать в подобных случаях: пресекать ли раздражающий звук в его источнике, защищать ли раздраженные уши. Если из соседнего окна вас оглушает музыка, не всегда удается урезонить производителя шума. Как известно, изобретение артиллерии повлекло за собой не протесты против ядер, но защиту посредством брони... Человек этот шагу не ступит, словечка не скажет без того, чтобы раскрасить черный на белом контур, навяжет сотню ленточек на упаковку, сто бантиков один другого затейливее. Вот, например, хвалился, что дал своей воспитаннице образование. Да это потеха: ему ясно, что для завершения этого самого образования следовало отправить девушку в путешествие. Старинная, испытанная традиция! Повидав мир — хотя бы Европу, не говоря уже о Новом свете или африканском материке, — она обогатилась бы впечатлениями: первоклассные оркестры, солисты-лауреаты... Она обрела бы иммунитет в живом отклике зала: вот это стоит одобрения, а то — нет; тогда бедняжка не потеряла бы самообладания и благоразумия от игры первого заезжего гастролера. И не говорите мне о радиолах, дисках, магнитофонах, даже о телевидении. Паллиатив, консервы. Непосредственное впечатление сбивает с ног без церемоний — а тут, как известно, не умолкают развязные ком-

ментаторы, стало быть — критика, сомнение... Нет, капустные кочны такие людишки, и хорошо еще, коли кочны — с кочерыжками, а не луковицы. Пора вернуться к фактам. Придется уж автору самому продолжить рассказ — хотя бы пока наш самозванный бургомистр не очнется от очередного запоя, ведь он, конечно, не применит утешиться бутылкою или целой батареей таких.

5.

Исход совершился в назначенное утро, без особых происшествий. Правда поутру транспорт вдруг оказался перегружен: обитатели окраин устремились, по вековому инстинкту, в центр; но опомнились по дороге две-три умные головы, сообразили, что случай совсем особенный, что начнут как раз с них, всегда обойденных и обиженных. Поспешили назад. Пунтица задержала сеанс на целых три часа: толпа преградила бы дорогу крысам. Говорят, маэстро был недоволен, бранил магистрат. Конечно, следовало бы объявить о ходе операции заранее, возможно, даже выпустить срочно большим тиражом карту с маршрутом и указанием времени; но никто не догадался. Еще проще было запретить гаммельнцам покидать дома до полудня, т.е. объявить комендантский час, — но на такую крайнюю меру магистрат не решился бы.

Открытый автомобиль плыл по городу медленными сужающимися кругами, высокая фигура Крысолова казалась мачтой на носу корабля. Вдоль пути шпалерами выстраивались гаммельнцы; приветственные клики были запрещены, чтобы не заглушить флейту и не спугнуть заклинаемых. По той же причине удалили громоздкую телевизионную аппаратуру. Впрочем, гаммельнцы отвергли бы нынче услуги телевидения; они хотели видеть все собственными глазами. Все окна были раскрыты, все балконы переполнены, все, кто мог, вышли на улицу. Люди двигались за машиной сперва вплотную, потом начали отставать, испуганно глядя под ноги. Приближаясь к реке, толпа росла; впереди старик с седым хохолком запрокинул голову, простирая руки к артисту; озирался ошеломленно толстяк в пижаме, исторгнутый прямо из тепла постели; мелькнула голая напрягшаяся рука женщины: она тащила малыша

вон из толпы, а он сажился на корточки, упирался сосредоточенно и отчаянно. Мать выволокла, наконец, упряма на тротуар и кулаком пригрозила Крысолову. Ни она, ни мальчик не разжимали губ. Вообще детей, молодежи было много, хотя занятия не отменили. Шла компания студентов в зеленых беретках; шли девочки с зелеными бантами в волосах. Но даже мальчишки не шумели, ступали осторожно, как охотник в лесу — сучок бы не треснул под ногой. И медленно близилось к реке шествие, подобное погребальному кортежу, за спиной Крысолова, за тонкой странной мелодией: две-три ноты кружили в монотонном ритме. Но все слышнее призыв-шуршанье сотен тысяч лап; все шире пространство между автомобилем и толпой.

Не прерывая игры, музыкант шагнул на гранит набережной, беззвучно закрылась дверь машины. Достигшее зенита солнце венчает голову, он стоит на вершине лестницы — тонкая черта на синеве неба, и вот постепенно исчезает, тонет. Вот скрылась голова его, а флейта продолжала томительно однообразную песню. А когда она оборвалась — низверглась вниз по ступеням огромная толпа, и долго зажимаемые глотки облегчились восторженным воплем.

6.

— Милостивые государи! С удовлетворением отмечаю, что в нашем экономическом положении произошел, наконец, долгожданный сдвиг. Едва лишь сообщила о гастролях у нас Крысолова, гаммельнская марка пошла вверх; теперь, утопив крыс, мы доказали нашу волю к переменам и внушаем миру доверие. Американцы обещали нам новый заем — они зовут это "свист-кредит", — мы можем импортировать муку, ведь все наши запасы изгажены крысами. Далее: молоко, сливки, сметана упали в цене, так как гаммельнцы не откармливают больше котов. Кстати, откуда у нас появилось столько бродячих кошек?.. Позволю себе выразить осторожный оптимизм относительно нашего будущего... Остается мелкое недоразумение, и с ним пора покончить. Мингер ван Пельц, изысканы ли средства для расплаты с Флейтистом?

- Не прибавилось за неделю. Если б уговорить его - помянув царя Давида и всю кротость его...

- Дорогой мингер, нельзя ли попросить денег у наших европейских соседей?

- Разрешите, финансовый советник, ответить за вас. Бургомистр, европейские кредиты исчерпаны. Я посетил Даунинг-стрит, говорил о предстоящей тотальной реконструкции Гаммельна, вообще постарался создать благоприятное впечатление. Кредиты были получены, так сказать, под это впечатление... кстати, председатель, в отличие от Америки Англия говорит о "крысином займе"... Бургомистр, европейская пресса удивлена и встревожена, что Гаммельн так долго задержал Крысолова. Я с трудом отделался сейчас от корреспондентов, сказав, что наш дорогой спаситель нездоров слегка...

- Он и в самом деле болен, - сказал доктор. - Это весь город знает. Долго в реке пробыл, а вода майская, холодная.

- Да, с полчаса не пускали, дурачье, орали и расступиться не догадались.

- А помните: по пояс в воде, берет снял и давай раскланиваться.

- И дудочку вверх поднял. И стоит.

- До ревматизма мог достаться.

- Что ревматизм, тут пневмонию заработаешь. Вон как пот-то беретом утирал. Свистун свистуном, а хлеб у парнишки нелегкий...

- Замечу, однако, - прошипел аптекарь, - что все это подозрительно. Лица подобной профессии не должны бы чихать и кашлять, едва промочив ноги. А чахоточные - подлежат изоляции!

- Побойтесь бога, коллега. Я освидетельствовал его и заявляю: сильнейшая простуда, нос распух, даже в горле налеты...

- Эге. То-то сноха толковала, что у парня сифилис.

- И такому субъекту город должен платить бешеные деньги! Кстати: если не ошибаюсь, контракт выглядел скромнее?

- Да,- сказал я. - Концерты оплачивает город. Мне казалось справедливым и добродетельным не оставлять за порогом молодежь и малоимущих граждан Гаммельна. Нельзя омрачать неравенством столь высокое, столь редкостное музыкальное наслаждение!

- Мать честная! Вот куда налоги-то наши идут! Просви- стали в задницу, а мне бы той дудки даром не надо!

Профессор переглянулся с судьей.

- Итак, бургомистр заставил город принести жертву своей всем известной меломании. Между тем, есть ли на свете что негоднее, презреннее и достойнее порицания, нежели свистуны, певцы и прочие, каковые, однако, словно бы отравленные сладостью, точно сирены с их непутевым пением, притворными позатурами и игрой ищут обворожить и пленить души людские! И доказательство тому: в городе неспокойно. Школьники в зеленых беретках собираются толпами, поют непристойные песни, играют на каких-то неслыханно громких гитарах. Прислуга ведет себя вызывающе: целуется с полицейскими прямо на улицах, а будучи призвана к порядку, демонстративно поворачивается спиной. Вчера бригада мусорщиков, остановив посреди тротуара машины с отбросами, окружила цветочниц и учинила с ними пляску - телодвижения, как сообщают, были достаточно недвусмысленные. Студенты, забыв о летней сессии, третий день осаждают отель "Империя", - персонал коего, как и следовало ожидать, превзошел все меры непотребства, и горничные беспрепятственно позволяют хватать себя за юбки, - студенты, говорю я, хором вызывают этого бродягу. Я мог бы и далее перечислять возмутительные факты, господа, но уж и того довольно, что полиция вышла из повиновения! А что и совершил сей дешевый шаолатан? Утопил крыс? Но что такое крысы, когда город нуждается в чистоте, жаждет чистоты улиц, домов и нравов? На эти деньги мы могли бы проложить водопровод и, прошу прощения, канализацию... Вы совершенно правы, экселенц: стыдно перед Европой!

- Лейпцигский магистрат,- сказал я с волнением,- покрыл себя вечным позором, торгуясь с великим Бахом. Да не последуем мы такому примеру! Разве не помните вы "Коль-

по нибелунга"; Валгалла погибла, когда не пожелали заплатить ее строителям. К тому же... — я хотел показать контракт, объяснить ошибку: общий гонорар Крысолову не составляет и десятой доли водопроводных денег, которые я просил так давно и так тщетно. Однако мне мешал хвост, лежавший на протоколах. Я осторожно потянул грудку папок к себе, — хвост сердито, громко ударил по бумаге; я посмотрел на мингера ван Пельца. Он спокойно отодвинул хвост, вытащил контракт и улыбнулся мне. Я начал говорить: изобретатель перебил меня:

— Что вы тут доказываете, почтеннейший, все равно денег нет, ни больших, ни малых. Эх вы, акселенцы, аксельбанты! Аксельроды! Вон те сидели, уши развесив да рты пошире разинув, тоже небось Баха слушали, и не углядели, чего им ваш Блох нацепил. Это какая же шляпка вместо паруса под таким деревом, ровно метлой, пойдет!

— Но это аллегория... Тут у Босха...

— А вы меня не поравляйте, не объегорили! Я технарь, свое дело знаю и делаю, пока вы тут кальсоны бедуге...

Аптекарь рванул у меня из рук бумагу, разодрав ее когтями.

— Крыс изгоняли! Музицировали! С жучками, паучками, инфузориями!

.. Магистр спокойно и грузно положил руки на стол, огляделся. Потом поднес к глазам ~~шпили~~ часы и кивнул судье. Тот извлек из внутреннего кармана лист бумаги и передал профессору. Профессор встал.

— Господа, минуту внимания! Ввиду серьезной угрозы благоденствию и спокойствию Гаммельна наш всеми почитаемый председатель своею властью верховного судьи предписал вчера заезжему скомроху покинуть город в двадцать четыре часа!

— Давно пора! В задницу!

Этого я не мог перенести! Страдание, гнев, отчаяние переполнили мое сердце, и я воскликнул прерывающимся голосом:

— Да не подвергнется артист оскорблению! Он благороден, он бескорыстен, он примет наше извинение и долговое

обязательство!

Мой друг наклонился над столом и произнес негромко:

— Вы надеетесь, что дракон насытился невинною жертвой?

И тут нас оглушило ревом и грохотом.

Все бросились к окнам.

На площади перед ратушей бушевала молодежь. Орала юноши, вопили девушки, мальчишки пронзительно свистели. Ухо различило ритм, потом слова:

— Он уй-дет — мы уй-дем! Он уй-дет — мы-уйдем!

Из толпы вышел высокий парень в зеленом берете, вскинул руку и крикнул:

— Долой обманщиков!

Другие подхватили:

— Долой вашу грязь!

— Долой вашу музыку!

— Долой ваш университет!

— Долой ваши благодеяния!

— К чертям вашу любовь!

— Вашу скуку!

Словно ветром и волною подхватило меня. Там мое место, с ними, я сжимаю их руки... Отвага ударила мне в голову...

— Вот вам музыка. Накликали!

— Ну нет, прошу прощения! Слова мои были, а музыку вместе сочинили, вместе и отвечать будем!

Изобретатель свистнул сквозь зубы:

— Н-да... Это уж почище ругни часовщика Гейнца...

— Вот бы и отпустить его, — отвечал я насмешливо.

Аптекарь отбежал от окна, — он стоял далеко, но это его когти вонзились мне в щеку. Закапало на шею; опьяневшие от крови навалились на меня, издавая ужасающее злобное. Задыхаясь, я хватал скользкие уши, отталкивал чашупечатные лапы, обдирая руки, словно о кровельную черепицу; крыло с когтями дважды ударило меня по лицу. Под руку попался гибкий мускулистый хвост, — а-а, так чудо банально, проклятый?! — я радостно рванул его. Изобретатель, успел

я заметить, медлил: большие собаки добродушны. Я протянул было освободившуюся руку погладить крутые завитки шерсти на спине его, но тут на вершине кучи мелькнули кошачьи усы Тедеско, и инстинкт сработал: изобретатель с веселым лаем прыгнул на него.

Мингер ван Пельц, опершись о подоконник, задумчиво поглаживал бороду.

7.

Я был один. Страх и стыд, мои домочадцы, отступили: стоило топнуть ногой, и они попятились, будто испуганные кошки. Я был в незнакомой стране, не убеждал себя, что достаточно нескольких усилий, и все забытое вспомнится: еще минута — и словно не было никогда моего бургомистра, автомобиля "пьяный аист", отглаженных брюк и жилета, встречи с магистром. Вспомню — узнаю: окружающее выстроится... но нет, не надо строя, лучше карнавальная толча, лучше мираж, лучше суеверие, нежели системоверие: в нем нет любви.

Я любил?! Как любят порок — стыдась, таясь, сомневалась...

Я ненавижу его — да, могу ненавидеть, стало быть, вспоминаю забытое? — ненавижу, потому что, разогнув мое скрюченное тело, он разбил единственное зеркало, в котором отразился бы мой новый облик. Я ревновал?! Превентивная ревность до права на ревность? Кого бы позвать, чтобы вместе со мной посмеялся над моей любовью, над моей ревностью.

...Что нужно от меня этому человеку?

— Нарушу, нарушу ваше уединение, друг мой! Нет, не вставайте... даже для того, чтоб указать мне на дверь. Уж не пьяны ли вы?

— Во имя логики. Ежели на трезвого и благонамеренного, каков был я утром, ополчаются ближние его, то как не понадеяться, что хмельной окажется удачливее?

— Вот именно. Вы были удачливы.

— Магистр, о чем еще говорить нам? Скажите, зачем вы

пришли?

- Быть может, поговорить о вашей удаче.

- Не во-время. Разве не вы так блистательно произвели сегодня изгнание дьявола? Ведь вашу волю исполняли эти люди, сами по себе неспособные ни на добро, ни на зло.

- А не выпить ли нам на брудершафт?

- Оставьте меня!

- О нет, милейший. Мне случалось входить сюда по-хозяйски, когда ваш царственный разум отсутствовал: я клал вас, подобного бесчувственному бревну, на эту постель... Кстати, позвольте-ка... Гм, неплохо, мягко. Молчите? А как хорошо говорили в ратуше, бургомистр! Так почему вы превратились в бургомистра?

- Случайно. Валяйся власть на земле, я не нагнулся бы поднять ее.

- А нагнитесь-ка сюда - с бутылкой. - Его огромное тело еле умещается на моей кровати. - Я буду пить из горлышка: так, кажется, было принято в вашей юности? Благодаря. Поистине, бургомистрство идет вам как корове седло.

- Я занял ваше место?

- Удача пьяному и дураку. И трусу. Власть? Вы изволили говорить о власти? Быть может, об опьянении властью? Это вы-то, который вспотел дрожавши? Вы томилась по крыше над головой и покою в блаженном Вифлееме, а добрые гаммельнцы, обоняя вас, чуяли родной запах. Родство, тождество возносило вас потихоньку, но вы продолжали бояться: ненадежно зависеть, ненадежно соглашаться, опасно, угадывая, не угадать... так еще, еще... Какое несравненное чувство юмора у сестры моей логики!

- Пусть так. Но не вы ли поощряли меня? Учили чтить Устройство как бога?

- Вы оказались некудышным учеником. Не понимая слов, вы подражали жестам. Из священного слова вы сделали возвратный глагол, из божества - зонтик. Нечего паять, у вас глаза кота и сводника. Тогда как я...

- Тогда как вы...

- Я хотел обратить Бедлам в Вифлеем. Всего только

это маленькое маленькое европейское и космополитическое захолустье: не более, чтобы не быть наказанным за гордыню. Не мне, не мне... Так чего и мог я ждать от людей, кроме вежливого равнодушия? Глуп я был, но вот мое утешение: вы устроились в Вифлееме, а он оказался Бедламом. Что это у вас? Смотрите-ка, нотные манускрипты. А бутылка-возбуждающее и укрепляющее? Вы больше не боитесь осечки ни с женщиной, ни с музыкой? Вы отважно блеете, выставив рога?

- Довольно! Признание под пыткой не имеет силы! Долго будешь ты терзать меня, дьявол?

- Вот и выпили на брудершафт. Послушай, я тоже признаюсь, как ни мерзко: мы схожи. В себе я нащупываю тебя.

- А могли бы мы - ты, я, - быть им?

- А уж это, мой милый, спроси у нее.

- Скажи, как ты узнал?

- Зачем тебе? Жертва негодна: она не ушла со всеми. Ты остался при своем, благослови свою удачу. Гаммельну конец. Крысы уже сбежали...

- Магистр... но ведь он был, был?

- Подкормите ваше дистрофическое воображение. Он был там, где вы меньше всего хотели его видеть, и оставил памятку, быть может. Общайте постель своей возлюбленной, вы, ничтожество: в час гибели мира вы не находите иного дела!

- Магистр, не смейся. Пусть я обманулся, но, клянусь, был час, когда я был свободен от твоей власти!

- А видели вы, экстатический козел, как они шли за ним? Склеившись, слипшись, позабыв отвращение к чужому телу, не гневаясь за отдавленные ноги, толчки под ребро, не воротя нос от соседа, который позавтракал чесноком? Лучше, чем в церкви, почти как на стадионе. Они утонули бы в том же умирительном соединении, не умолкни флейта! Никогда не пойдут они так за вами... ни за мной...

- Продолжай же говорить мне "ты", магистр!

-... и будто я этого не знал! Но видеть, слышать оказалось несносно. Откройте хотя бы окно! Когда вы последний

раз меняли простыни? И кто вам стирает рубашки? Вам жениться надо, почтенный глава магистрата. Надо жить вместе, все обречены жить вместе... Фу, черт, в сон клонит это ваше пойло... а для того приходится жертвовать кое-какими удобствами. Например, больной кишечник требует немедленного облегчения, а посреди улицы нельзя, еще Моисей запретил: не оскорбляй бога. Великолепная мысль: вознести гигиенический акт до молитвы! Только так, мой мальчик, и можно сотворить нечто классическое. Превыше доводов разума божественная, твой зад да прославит господа! Облегчайтесь в храме! Мальчишка, которому я не доверил бы чистить нужник, — в роли божества. Поучая свое стадо, Моисей блевал от омерзения, вам не кажется? Впрочем, блевать посреди улицы не так предосудительно...

— И ты смел говорить о музыке! Твоя ревность грязнее моей. Изливай свою желчь в другом месте, прочь из моего дома!

Он спит — головою в луже пролитого вина. Дождь бьет меня по лицу, а под окном стоит Марта, зовет, машет руками и ловит взлетающую накидку.

8.

— Что вы на меня так смотрите? Пришли утешить, простить, взять в жены и увести далеко-далеко, где меня не будут мучить воспоминания? Может, беве принесли?

— Молчи, бесстыжая! Ох, совсем с ума свел негодяй девчонку!

— Он лучше всех! Уйди, Марта! Он всегда будет лучше всех, его любила учительница пения: забудет нарочно ключ от рояля и просит Клауса дать тон хору. Мы в зале, а они вдвоем на сцене: наверно, ей нравилось стоять там рядом с ним. А после урока гладила его по голове, и все смеялись: она, совсем седая, вставала на цыпочки. Я была не больше вон того стула, и я сама начала. Еще тогда, слышите? Заговорить бы с ним — так, чтоб никто не видел, — но его вся школа знала; рыжий Клаус! Длинный Клаус! Клаус—

громила и Клаус-виселица, потому что он разбил окно в учительской, и директор сказал: "Громила, по тебе виселица плачет." Его одного никогда не застанешь... Вот только если на урок опоздает: они с матерью через дорогу жили, он домой бегал поест. Я после звонка в класс не пошла, а побежала наверх, где старшие занимаются. К стенке прижалась, все несутся мимо, дверь захлопнулась, а внизу уж учитель топает — что если увидит? И тут, слышу, Клаус мчится по лестнице через три ступени... Нет, он бы мимо не пролетел, я встала на середине площадки. Ближе, ближе, вот сейчас головой в живот заедет! — я руки вытянула, схватила его за волосы, дернула изо всех сил, зажмурилась, стою вцепившись — ему, наверно, больно, а мне хорошо, что ему больно, и пусть дверь открывается, пусть снизу видят...

Никто не знает, я даже маме не рассказала.

Он забыл! И даже не притворился, что помнит. Я ждала его и знала, наизусть выучила, что скажу: "Здравствуй, Клаус, это я тебя таскала за волосы!" "Ах ты элочка, и сейчас хочешь? Ладно, не назад же по грязи топать, тяни!" — берет сдернул и наклонился. А я шагу не могу сделать: на полу цветы, он всю охапку бросил, сирень, розы... Это совсем не то, я знаю, его и накануне цветами на концерте засыпали, но он же мне принес, значит, можно мне пока думать, что это мне, правда? "А ты на урок опоздал — попало тебе?" Он свистнул. "Ой, Клаус, ты свистишь как в школе!" "Не велишь — не буду больше." Перешагнул через цветы и стоит теперь близко-близко... Пуговица! Я тихонько тронула отвороты плаща — расстегнуть. "А помнишь, Клаус, ты дал подножку директору?" Он фыркнул: "Я-то забыл, а он в мемуарах написал! Какого это критина тогда приветствовали?" "Не знаю, только директор сам сочинил стихи, мы их декламировали, а он пятился вдоль нашего строя, чтоб спиной не поворачиваться. И как дотянулся до тебя, ты выставил ногу..." "Да, я всегда с краю стоял." "Клаус, а у меня фотография есть — сняли тогда, всем на память пода-рили, смотри!"

Сейчас покажу вам.

Она вышла в спальню; Марта подобралась ко мне и

зашептала, оглядываясь на дверь:

— Вот трещит-то, а ведь молчала. Наутро давай я ее стыдить, уж коли, говорю, приспичило, как кошке, так прежде свадьбу надо. А я еще, говорит, сперва десяток детей нарожаю. Иду я в спальню, сдергиваю простыню и сую ей под нос: вот это, говорю, родителям невесты утром отвозят, а родителей нет — во дворе вывешивают, чтобы все знали, что девушка честная была. Я же и была честная, говорит. Отдай в стирку. А почему, Марта, он удивился и прощенья просил? Ну, говорю, никто не видал, не слышал, счастье твое, а выходи-ка поскорей за господина бургомистра. И с рук долой, надоела ты мне! И ты, сударь мой, хорош. Ведь в рот глядела, сама в руки давалась, а теперь вон какая стала. Может, и обойдется еще, известно, девушка тому не прощает, кто ее первый испортил да сбежал, — а ты обходительный, у нее зла на тебя не будет, слышь, тебе же лучше. Ну, на другой, на третий день забегала она что мышь, то к балкону, то к двери. Эх, кошечку паршивую и ту пожалеешь, а тут ведь своя кровь, дочка ведь она сестры моей покойницы, да не говорила я никому: не много чести от такой тетки... Пошла я в город, на базаре потолкалась, послушала. Вот, говорю ей, болеет он, простудился, обожди... Вскочила: давай умываться, волосы прибирать, физику свою зареванную в зеркале разглядывает, нос пудрит. Ах, вот ты как, говорю, подстилка несчастная, бегать за ним хочешь? Сейчас на ключ тебя, и господина бургомистра вызову! Не зови, кричит, останусь, только его не зови! Тебя то есть. А сегодня, гляжу, пошла это она на кухню и в столе роется, где ножи...

— Вот смотрите: это он, а тут, где маленькие, я стою — не разглядеть почти...

Фотография плохая, мутная. В самом деле, ее не узнать, а он стоит с краю, полусрезанный /совсем бы/, худое нахальное мальчишеское лицо, резкий выступ носа. Он не таков в ее пересказе, но интонации его звучат в ее голосе.

— А это директор. "Затылком, бедняга, стукнулся..."
"Там песок был, нечего жалеть, он же тебя из школы выгнал!"

"Наверно, не так за подножку, как за свист." "Да, верно, ты сунул руки в карманы и засвистел в лицо им обоим — директору и тому толстяку в мундире — он поближе подошел, узнать, что случилось!" Клаус, а вот учительница пения. Как она, наверно, горевала о тебе!" "Старуха позвала меня к себе домой, достала из какого-то допотопного истощенного сундука флейту и отдала мне: бери, свистун, и уезжай отсюда в большой город. Учись! Ты будешь музыкантом. Это старинная флейта, хорошая флейта, на ней нельзя играть плохо!" "Вот эта самая?!" "Нет, та через год сгорела в Гамбурге — вместе с домом, и все наше барахло сгорело. Ничего тогда у нас с матерью не осталось — не в этом их хилом переносном смысле, а в самом деле ничего..." "И как же?" "Да так. Пел где придется, пока лягушкой не заквакал — мутация. Вот тогда свист пригодился: птиц приманивать. А помнишь, старуха речи говорила на школьных концертах? Все ждут, когда хор запоет, а она снимает пенсне и трет платочком: "Прошу меня извинить, безумно сложная ситуация. Бетховен и Шиллер говорят — обнимитесь, миллионы, а вы можете представить, как они обнимутся? Вот здесь дети разного возраста, родители, да еще мы, учителя. Обняться с чужим, юному обнять старого, — а если ему противно? Любовь — это один плюс один, а как быть миллионам?.. Ну, а теперь, дети, споем." И поднимает руки. В зале жара, духота, всю эту жирную публику развеяло, осовели... Когда меня выгнали, она матери денег дала, наговорила ей чего-то, так что мать меня на время даже лупить перестала..." "И ты совсем, совсем не помнишь меня, Клаус?" "Ладно, малыш, не тяни кота за хвост... ну и кот у тебя! Чего только не плел мне утром: жертвы, искупления... Наверно, сейчас где-нибудь внизу бродит." Не знаю: кот давно спал в кухне на подстилке. Ночь, темно, поздно... Что же это было? А, вы меня учили: чтобы получалось — упражняйся, искусство постигай постепенно, день за днем, час за часом... Вон они, часы, — ваш подарок, все здесь ваше. Ну нет, ему время дорого, и дела-то всего на два минуты. Отлично получается! С первого раза! Он заснул так неудобно, головой на альбоме с фотографиями. Спи, милый, я тебе песенку

спою... А ушел рано утром, когда я спала. А я бы его сама разбудила, каждое бы утро сама будила, балкон открою, солнце в лицо, вставай, Клаус, кофе убежит! Вставай, принц Клаус, вот твоя корона! Это вы мне читали Шекспира — он в высылке, а мужи полноправны? И ты сказал, что высылка — не смерть? Ты б отравил меня или зарезал, чем этим пустословьем заниматься, и еще там что-то, много, не помню, — ну, если б он столько говорил, никогда б до дела не дошло. А у нас дойдет! Лучше б вы меня на рояле учили, тогда бы я с ним играла, а не эта толстая зануда. Уходите! Уходите скорее!

Марта сбежала за мной по лестнице. Внизу она остановилась у фонаря, не различая меня в темноте.

— Я здесь, Марта, за деревом.

— Ну, слава богу, дождь перестал...

— Марта, что это вы говорили о ноже?

— О ноже?.. А, — это говорит она мне: обманули его тут, обидели, он теперь думает — я тоже виновата. А вот в сказке одной написано, что надо кусок мяса из груди вместе с сердцем вырезать и послать, тогда поверит!.. Ну да я не первый день на свете живу. Говорю ей: нож-то поострей надо, а наши давно не точены. Ногой топнула, в спальню ушла. А я ножи припрятала — и к тебе. А ты-то, сударь мой, опять пьян. Что ж, возьмешь ее, что ли? Сам.. видишь: тот сбежал, едва штаны застегнуть успел. Тебе ведь привозила: а ты, тьфу, ни отец, ни муж. Мне, сударь, за май месяц еще причитается; и будет с меня мороки, не старуха еще. Мне Линц-бакалейщик, вдовец, третьего дня говорит: вы, фрау Марта, совсем еще цветочек! А я ему: и не фрау, а вовсе фрейлин, а коли встретится человек хороший...

9.

Когда это было?

Не знаю: я больше не считаю годы. Есть только дни, которые не складываются в измеряемые величины; и если в полночь доносятся до меня с башен ратуши глухие удары и

шестикратно "соль.", я думаю не о времени, но о тщете хороших финалов "Фиделио" и Девятой. Моя музыкальная шкатулка сломалась, молчит: должно быть, я небрежно упаковал ее, перебираясь в маленький домик на краю города. Но довольно и того, что в зелени липы я угадываю голый осенний скелет, а в обледеневающих ветвях — новое цветение: я не надеюсь и не огорчаюсь. Перемены в Гаммельне не коснулись меня; упоминаю о них лишь из-за былой и почти неправдоподобной причастности к истории.

Ныне правит городом профессор. Вначале, оставшись без дел в опустевшей школе, он обрадовался должности бургомистра как избавлению; когда же подросли малыши и школа вновь открылась, он согласился и с одобрения магистрата сохранил свое место в ратуше: достойного преемника не сыскали.

Обязанный своим возвышением, в сущности, Крысолову, он предпочел тем не менее предать анафеме это имя и всякую память о нем, вроде берета и флейты. Политическое чутье подсказало бывшему директору, что проклятья убедительны лишь в симметрии с благословениями; логикой он был приведен к крысам, и незамедлительно нашлось не менее доводов, нежели было пред тем . . . Новую доктрину не провозглашали официально, слегка стыдясь заграницы; а гаммельнцы обрадовались новой моде и быстро ввели ее в повседневный быт. В кафе подавали паштет; местные донжуаны говорили "не женюсь и за сто тысяч крыс"; судья через подставных лиц купил подвальчик в дереулке и оборудовал литературно-артистическое кабаре под названием " ". С вывески призывно помахивал натуральный крысиный хвост. Усерднейшим посетителем " " стал доктор: он утверждал, что стыне специализируется по психопатологии и наблюдает нравы. Аптекарь тоже частый гость в кабаре. История с Крысоловом пробила брешь в гордом затворничестве этого ученого, бедняга полюбил шум, толкотню, мельканье лиц. Он садится за столик в дальнем углу, а потом его длинная фигура пересекает подвальчик по диаго-

нали и надолго застывает у стойки. Не отрываясь глядит он на крохотную эстраду, где играет джаз-ансамбль, и ждет перерыва, чтобы заказать пирожное, крем или мороженое для пианистки. Та мигом слизывает угощение, хлопает его по плечу "привет, пацаша", — вот вся его награда. Но он терпелив. Пианистка — душа, опора и неограниченная повелительница оркестрика, неизменно веселая и деловитая. Это Бербель, ее преобразование шокировало уважаемых гаммельнцев; но она порвала с прежним кругом и кажется довольной. Бедняжке лихо пришлось без покровительства дяди: новый бургомистр, суровый, как Брут, отправил бывшую невесту в тюрьму за подозрительно удачный аккомпанемент Крысолову. Бургомистр впал еще в две-три подобные крайности, вроде латинской брашюры " . . . " или публичной лекции "О роли крыс в истории", где доказывал документально, что крысы предупреждают об опасности на море и на суше не хуже гусей римской породы, и что провидение порою избирает их орудием справедливого возмездия; епископ Гатон и проч. К счастью, такие прискорбные излишества он допускал лишь в самом начале пребывания в должности, и скоро обрел подобающее равновесие. Бербель вышла из тюрьмы через полтора месяца — и вышла неузнаваемой. Она бросила ежедневные гаммы и прочное положение в городской музыкальной школе, подобрала партнеров и предалась джазовым импровизациям. Ее крепкая ремесленная выучка, ее неудержимая энергия обеспечила оркестру высокий профессиональный уровень. Толстушка и лакомка, она помолвлена с кондитером " . . . ", а Бербельбанд пользуется неизменным успехом у завсегдатаев кабаре. Кое-кто даже поговаривает /шепотом/, что тут только и услышишь нынче настоящую игру.

Ибо музыкальный быт Гаммельна заметно переменился. Изгнаны из оркестра большие флейты, альтовые флейты и флейты-пикколо, а также гобой и кларнет. Чтобы исполнять известные классические произведения — объявленные орудием борьбы за очищение нравов — партии деревянных духовых переданы частью скрипкам, частью альтам и виолончелям. Медная духовая группа осталась неприкосновенна: без труб,

туб и валторн немислимы торжественные марши и сам гаммельнский городской гимн. Пощажены также фаяот и кларнет: бургомистр прочел несколько музыкально-критических статей и убедился, что это инструменты бляющие, гнущие, хрипящие— словом, карикатурные. Являлась прекрасная возможность высмеять дудочки и свиристелки с помощью их братьев-предателей. Помимо фаяота и малого кларнета единственный деревянный духовой инструмент в Гаммельне— саксафон из Бербельбанца; " — частное заведение, стало быть, неприкосновенно. Лишь по крайней нужде, временно ввели эти строгости; но музыканты-духовики покинули Гаммельн, оставшиеся же были переучены за государственный счет на трубачей и тубистов; музыкальная критика нашла нечто привлекательное и свежее в новом звучании Бетховена и Вагнера. Конечно, были недовольные; но, как водится, одни смирились, другие примирились, третьи не интересовались. И в самом деле, мало ли дел более важных, например, городское водоснабжение... Упомяну еще о "Гамлете", исполнением без эпизода с флейтой; смущала также реплика о крысе за ковром: "Мертва, держу червонец!" — но крысу эквивалентно заменили на кошку.

Знакомый старик-архивариус поведал мне о затруднениях магистрата при оформлении— так сказать, введении в историю— недавних событий. Судья вступил в спор с новым бургомистром. "Да изгладится самая память о Крысолове!— кричал профессор. — Да не осквернит эта кличка страниц городской хроники!" "В таком случае не следует упоминать на этих страницах и о таких суровых, но целительных мерах, вами предпринятых,— возражал судья. — Ибо без объяснения причин потомство вместо благодарности заклеит вас именем вздорного деспота. Все — или ничего."

Бургомистр своею деятельностью гордился, и жаль было ему терять шанс войти в историю. Прибегли к консультации фон Тедеско /по почте/, и дипломат ответил, как прежде: приходится порой делать историю не записывая... чтобы потом не пришлось записанное уничтожать. В изящном почерке его проскальзывало досадливое нетерпение, и бургомистр

отступил. Смута и нормализация не попали в гаммельнские городские хроники, зато появился там короткий суровый абзац о прежней администрации. Бургомистр отвел душу и изгнал из магистрата мингера ван Пельца. Тот никак не мог оправдать свои финансовые отчеты без упоминания некоего ~~ИИИ~~ имени; а раз Крысолов не существовал, мингера обвинили в воровстве.

... Но все это бесконечно далеко от меня. Я остаюсь в Гаммельне потому, что не знаю, где бы мог жить еще; но с тех пор, как я столь делепо и смехотворно ошибся, возомнив, что имею власть над событиями, — события не имеют более власти надо мной. Я не выхожу за пределы моего маленького сада, почти не встречаюсь с людьми. Не бываю и в концертах: мне претит шум, суэта возле вешалки, инструменты-оборотни... вурдалаки. Я послушал бы оркестр Бербель; но осторожность удерживает меня. Рассказывают, что она с особым наслаждением, с особым злорадным блеском исполняет искаженные варианты прославленных образцов классики. О, я чужд ханжества, я не спорю: музыка, рожденная столетия назад, давно живет самостоятельной жизнью; правоспособная по понятиям человеческим и космическим, она вольна бывать в любом обществе, пить и сквернословить, спать с кем захочет, плодиться и размножаться. Утрата совершенства? — пусть, не остановит и это: только бы жить! А если так, клянусь, не пожелаю ей смерти, не произнесу рокового и чугунного "остановись, мгновенье!" Но чтобы не слышать и не видеть, отойду в сторону: не соучастник, не судья, не свидетель. Не тревожь мир, и мир — быть может! — не тронет тебя.

Но упомяну о последней и совсем смешной попытке.

.. В недолгие дни мятежа погиб фореитор Ганс: молодежь подождла для забавы сарай, где стояли старые кареты, и бедный чудак, пытаюсь спасти рухлядь, получил удар балкой по голове. Единственная человеческая жертва — и ею оказался он! Мальчик, усыновленный Гансом, осиротел вторично. "Как тебя зовут?" — спросил я, погладив его по головке. Он молчал. "Пойдем со мной, если хочешь, и твое

имя будет Клаус." Он снова не ответил, ему было все равно. Марта вычесала мальчугану голову, выкупала его /бедняга Ганс не слишком следил за гигиеной/, и мы вдвоем нарядили маленького Клауса во все новое и чистое. "А как же бакалейщик Линц?" — спросил я шутливо. Она отмахнулась. "Не тебе бы, сударь, спрашивать. Сам бы..." Я предпочел не понять намека, и тогда она сказала, вздохнув: "Видно, суждено мне чужих детишек подбирать..."

Так возникло у меня подобие семьи. Я поставил на стол фотографический портрет Сабины и каждый вечер повторял Клаусу: "Это твоя мама, помолись за нее." Мальчик был молчалив и послушен. В строжайшей тайне я стал учить его игре на флейте, и в час урока надевал ему зеленый берет, сшитый Мартою из каких-то домашних лоскутьев. Маленький Клаус оказался восприимчив к интонации, и скоро мы стали объясняться краткими мелодическими попевками, приводя в изумление добрую старушку Марту.

Однажды в Гаммельн забрели трое музыкантов; не получив разрешения дать концерт на площади, они остались без денег и без крова. Я пригласил их к себе, накормил ужином, достал бутылку старого вина, и они отблагодарили нас: гитарист, скрипач, певичка с тамбурином. Клаус робко взглянул на меня, я кивнул, он побежал за флейтой, — и трио превратилось в квартет. Мальчик играл хорошо, право, я мог гордиться своим учеником. Легли спать; на заре я услышал шорох, шаги, но не встал. Так и должно было случиться... Я надеялся еще, что он позвонит, когда они выйдут из города; что я еще услышу в телефонной трубке веселый звонкий голос: "Мы шли через лес..." Он не позвонил.

Итак, все осталось по-прежнему. И благо: ведь если ни единый из моих поступков ни к чему не привел, это значит, что капризное своеволие не опасно. Случалось, я томился неотступным выбором, а потом упрекал себя при виде людских бед: вот, казалось мне, губительные последствия моего решения! Напрасно, несправедливо. Следовало яснее видеть доступное — и не тревожиться.

но не каждому дано пошатнуть мир, где дирижер ежевечерне поднимает руки во имя бесспорного.

.. Я одинок. Я старею мирно и несуетливо, и люблю порядок и чистоту не ради наружного достоинства, но ради них самих. Как ни скудны теперь мои средства, я без колебаний пожертвовал некоторой суммой, пригласил рабочих — и радуюсь канализации и ванне. А когда соседи стали выражать завистливое недовольство, я почел справедливым и уместным напомнить им о прежнем моем положении.
